

Франческо Петрарка

Лирика

Вступительная статья, составление и примечания Н. Томашевского

ПЕТРАРКА И ЕГО "КНИГА ПЕСЕН"

Н. Томашевский

Явление Петрарки огромно. Оно не покрывается никаким самым высоким признанием его собственно литературных заслуг. Личность, поэт, мыслитель, ученый, фигура общественная – в нем нераздельны. Человечество чтит великого итальянца прежде всего за то, что он, пожалуй, как никто другой, способствовал наступлению новой эпохи открытия мира и человека, прозванной Возрождением.

Говорить о Петрарке – значит говорить о мысли и искусстве уходящего Средневековья, говорить о Гуманизме и Возрождении, говорить о петраркизме итальянском и европейском. Петрарка был первым великим гуманистом, поэтом и гражданином, который сумел прозреть цельность предвозрожденческих течений мысли и объединить их в поэтическом синтезе, ставшем программой грядущих европейских поколений [А. Н. Веселовский. Петрарка в поэтической исповеди "Canzonie-ге". 1304 – 1904. СПб., 1912]. Своим творчеством он сумел привить этим грядущим разноплеменным поколениям Западной и Восточной Европы сознание – пусть не всегда четкое – некоего духовного и культурного единства, благотворность которого сказывается и в современный нам век.

Петрарка – родоначальник новой европейской поэзии. Его "Канцоньере" (или "Книга песен") надолго определил пути развития европейской лирики, став своего рода непререкаемым образцом. Если на первых порах, для современников и младших гуманистов, Петрарка являлся великим реставратором классической древности, провозвестником новых путей в искусстве и литературе, непогрешимым учителем, то, начиная с 1501 года, когда стараниями Пьетро Бембо и типографа Альдо Мануцио Ватиканский кодекс 3197 "Канцоньере" был предан широкой гласности, началась эпоха петраркизма, причем не только в поэзии, но и в области эстетической и критической мысли. Петраркизм вышел за пределы Италии. Свидетельством тому "Плеяда" во Франции, Гонгора в Испании, Камонс в Португалии, Шекспир и елизаветинцы в Англии. Без Петрарки их лирика была бы не только непонятной для нас но и попросту невозможной.

Мало того, Петрарка проторил своим поэтическим наследникам путь к познанию задач и сущности поэзии, познанию внутреннего мира человека, его нравственного и гражданского призвания.

ЛИЧНОСТЬ И ПОЭТ

В невольном возникающем при чтении Петрарки автопортрете бросается в глаза одна черта: потребность в любви. Это и желание любить, и потребность быть любимым. Предельно четкое свое выражение эта черта нашла в любви поэта к Лауре, главному предмету всего "Канцоньере". Любви Петрарки к Лауре посвящено неисчислимое количество трудов ученых и неученых, и потому говорить тут об этом подробно не имеет смысла. С нужной полнотой читатель все узнает из самих стихотворений. Необходимо лишь заметить, что Лаура фигура вполне реальная, внешняя биография ее в самых общих чертах известна и большого интереса не представляет. О "внутренней" же рассказывает сам поэт.

Конечно, как всегда бывает в настоящей поэзии, любовь эта сублимированная, к концу жизни поэта несколько приутихшая и едва ли не слившаяся с представлением о любви райской, да и самим Раем.

Конкретнее в жизни Петрарки любовь к матери, к домашним (брату Герардо и племяннику Франческо), к многочисленным друзьям: Гвидо Сетте, Джакомо Колонна, Джованни Боккаччо и многим другим. Вне дружбы, вне любви к ближним и вообще к людям Петрарка не мыслил себе жизни. Это накладывало определенный нравственный отпечаток на все им написанное, привлекало к нему, повсеместно делало своим, любимым.

Еще одна черта, которую обнажал сам поэт, за которую порой (особенно на склоне лет) себя бичевал: это любовь к славе. Не в смысле, однако, простого тщеславия. Желание славы у Петрарки было теснейшим образом связано с творческим импульсом. Оно-то в большой степени и побудило Петрарку заняться писательством. С годами и эта любовь, любовь к славе, стала умеряться. Достигнув беспримерной славы, Петрарка понял, что она вызывает в окружающих куда больше зависти, чем добрых чувств. В "Письме к потомкам" он с грустью пишет о своем увенчании, а перед смертью готов даже признать триумф Времени над Славой.

Любопытно, что любовь к Лауре и любовь к Славе между собой не только не враждовали, но даже пребывали в тесном единении, что подтверждалось устойчивой в поэзии Петрарки сим воликой: Лаура и лавр. Но так было до поры до времени. В годы самоочистительных раздумий Петрарка вдруг почувствовал, что и любовь к Лауре, и желание Славы противны стремлению обрести вечное спасение. И вовсе не потому – а это чрезвычайно существенно для Петрарки! – что они греховны сами по себе. Нет! просто они мешали вести тот образ жизни, который надежно подвел бы его к спасению. Осознание этого противоречия повергло поэта в глубокое душевное смятение, умеряемое, впрочем, писанием трактата, где он пытался со всей откровенностью обнажить свое душевное состояние.

Конфликт этот был лишь частным случаем конфликта более общего и философски более значимого: конфликта между многочисленными радостями земного бытия и внутренней религиозной концепцией.

К земным радостям Петрарка относил прежде всего окружающую природу. Он, как никто из его современников, умел видеть и наблюдать ее, умел наслаждаться травой, горами, водой, луной и солнцем, погодой. Отсюда и столь частые и столь любовно написанные в его поэзии пейзажные описания. Отсюда же тяга Петрарки "к перемене мест", к путешествиям, к возможности открывать для себя все новые и новые черты окружающего мира.

К несомненным земным радостям относил Петрарка и веру в красоту человека и могущество его ума. К ним же он относил любое творческое проявление: будь то в живописи (сошлюсь на его суждения о Симоне Мартини И Джотто), в музыке, философии, поэзии и т. д.

За эти существеннейшие качества человека Петрарка благодарил Творца. Но эти же качества могли явиться и причиной гибели человека.

Тут надо сказать два слова о личной религиозности Петрарки. Предписаниями религии он не манкировал. Соблюдал их неукоснительно и без рассуждения, в дебри теологии не вступал. Но и отказа от радостей жизни не было. Многочисленные его друзья и родной и горячо любимый брат Герардо отрешились от всего земного и уединились в своих обителях. Петрарка их одобрял, но примеру не следовал. Молчаливо принимая созданное единым Творцом и порой вознося ему хвалу, Петрарка был не чужд и протеста. Ведь это именно он, Петрарка, восклицал: "...что это За мир "округ?.. Почему Ты отворачиваться от него? Разве Ты забыл о нашей нищете и страданиях?"

Петрарка не отказывался от привилегий, связанных с его духовным саном, но никогда не соглашался принять конкретную должность, взять на себя обязанности по спасению чужих душ.

Петрарка был поразительно восприимчив ко всему, что его окружало. Его интересовало и прошлое, и настоящее, и будущее. Поразительна и широта его интересов. Он писал о

медицине и о качествах, необходимых для полководца, о проблемах воспитания и о распространении Христианства, об астрологии и о падении воинской дисциплины после заката Римской империи, о выборе жены и о том, как лучше устроить обед.

Петрарка превосходно знал античных мыслителей, но сам в области чистой философии не создал ничего оригинального. Критический же его взгляд был цепок и точен. Много интересного им написано о практической морали.

Сторонясь мирской суеты, Петрарка жил интересами времени, не был чужд и общественных страстей. Так, он был яростным патриотом. Италию он любил до исступления. Ее беды и нужды были его собственными, личными. Тому множество подтверждений. Одно из них – знаменитейшая канцона "Италия моя". Заветным устремлением его было видеть Италию единой и могущественной. Петрарка был убежден, что только Рим может быть центром папства и империи. Он оплакивал разделение Италии, хлопотал о возвращении папской столицы из Авиньона в Вечный город, просил императора Карла IV перенести туда же центр империи. В какой-то момент Петрарка возлагал надежды на то, что объединение Италии будет проведено усилиями Кола ди Риен-цо. Самое страшное для Петрарки внутренние распри. Сколько усилий он приложил, чтобы остановить братоубийственную войну между Генуей и Венецией за торговое преобладание на Черном и Азовском морях! Однако красноречивые его письма к дожам этих патрицианских республик ни к чему не привели.

Петрарка был не только патриотом. Заботило его и гражданское состояние человеческого общежития вообще. Бедствия и нищета огорчали его, где бы они ни случались.

Но ни общественные и политические симпатии, ни принадлежность к церковному сословию не мешали основному его призванию ученого и литератора. Петрарка отлично понимал, что для этого нужна прежде всего личная свобода, независимость (тут и он мог бы воскликнуть, что "служены; муз не терпит суеты")- И надо сказать, что Петрарка умел находить ее повсюду, где ему доводилось жить. Кроме, понятно, Авиньона – этого нового Вавилона, – за что он ненавидел его еще и особенно, Именно благодаря такой внутренней свободе – хотя иной раз дело и не обходилось без меценатов – Петрарке удалось создать так много и так полно выразить себя и свое время, хотя многое до нас дошедшее осталось в незавершенном, не до конца отделанном виде. Но тут уж свойство самого поэта: тяга к совершенству заставляла его возвращаться к написанному все вновь и вновь. Известно, например, что к таким ранним своим произведениям, как "Африка" и "Жизнь знаменитых мужей", он возвращался неоднократно и даже накануне смерти.

Петрарка был не только великим писателем, но и не менее великим читателем. Так, произведения античных авторов, которые он читал и перечитывал с неизменной любовью, были для него не просто интересными текстами, но носили прежде всего отпечаток личности их авторов. Расставаясь с ними навсегда, он мог, подобно Пушкину, сказать: "Прощайте, друзья!" Так и для нас произведения Петрарки носят отпечаток одной из самых сердечных и привлекательных личностей прошлого.

Литературу Петрарка понимал как художественное совершенство, как богатство духовное, как источник мудрости и внутреннего равновесия. В оценках же ее порой ошибался. Так, он полагал, что его "Триумфы" по значимости своей настолько же превосходят "Канцоньере", насколько "Божественная Комедия" превосходит дантевскую же "Новую жизнь". Еще он ошибался в оценке своих латинских сочинений, кстати говоря, количественно превосходивших писанное им по-итальянски в пятнадцать раз! В сонете CLXVI Петрарка говорит, что, не займись он пустяками (стихами на итальянском языке), "Флоренция бы обрела поэта, как Мантуя, Арунка и Верона". Флоренция обрела поэта не меньшего, чем Вергилий и Катулл, и подарила его Италии и всему миру, но именно благодаря этим пустякам.

В РАБОТЕ НАД "КАНЦОНЬЕРЕ"

Конечно же, главным произведением Петрарки является его "Канцоньере" ("Книга песен"), состоящая из 317 сонетов, 29 канцон, а также баллад, секстин и мадригалов.

Стихи на итальянском языке (или просторечии, "вольгаре") Петрарка начал писать смолоду, не придавая им серьезного значения. В пору работы над собранием латинских своих посланий, прозаических писем и началом работы над будущим "Канцоньере" часть своих итальянских стихотворений Петрарка уничтожил, о чем он сообщает в одном письме 1350 года.

Первую попытку собрать лучшее из своей итальянской лирики Петрарка предпринял в 1336 – 1338 годах, переписав двадцать пять стихотворений в свод так называемых "набросков" (*Regum vulgarium fragmenta*). В 1342 – 1347 годах Петрарка не просто переписал их в новый свод, но и придал им определенный порядок, оставив место для других, ранее написанных им стихотворений, подлежащих пересмотру. В сущности, это и была первая редакция будущего "Канцоньере", целиком подчиненная теме возвышенной любви и жажды поэтического бессмертия.

Вторая редакция осуществлена Петраркой между 1347 и 1350 годами. Во второй редакции намечается углубление религиозных мотивов, связанных с размышлениями о смерти и суетности жизни. Кроме того, тут впервые появляется разделение сборника на две части: "На жизнь Мадонны Лауры" (начиная с сонета I, как и в окончательной редакции) и "На смерть Мадонны Лауры" (начиная с канцонны CCLXIV, что также соответствует окончательной редакции). Вторая часть еще ничтожно мала по сравнению с первой.

Третья редакция (1359 – 1362) включает уже 215 стихотворений, из которых 174 составляют первую часть и 41 вторую. Время пятой редакции 1366 – 1367 годы; шестой редакции – 1367 – 1372 годы.

Седьмая редакция, близкая к окончательной, которую автор отправил Пандольфо Малатеста в январе 1373 года, насчитывает уже 366 стихотворений (263 и 103 соответственно частям). Восьмая редакция – 1373 год, и, наконец, дополнение к рукописи, посланное тому же Малатеста, – 1373 – 1374 годы.

Девятую, окончательную, редакцию содержит так называемый Ватиканский кодекс под номером 3195, частично автографический.

По этому Ватиканскому кодексу, опубликованному фототипическим способом в 1905 году, осуществляются все новейшие критические издания.

В Ватиканском кодексе между первой и второй частями вшиты чистые листы, заставляющие предполагать, что автор намеревался включить еще какие-то стихотворения. Разделение частей сохраняется: в первой – тема Лауры – Дафны (лавра), во второй – Лаура – вожатый поэта по небесным сферам, Лаура – ангел-хранитель, направляющий помыслы поэта к высшим целям.

В окончательную редакцию Петрарка включил и некоторые стихи отнюдь не любовного содержания: политические канцонны, сонеты против авиньонской курии, послания к друзьям на различные моральные и житейские темы.

Особую проблему составляет датировка стихотворений сборника. Она сложна не только потому, что Петрарка часто возвращался к написанному даже целые десятилетия спустя. А хотя бы уже потому, что Петрарка намеренно не соблюдал хронологию в порядке расположения стихотворного материала. Соображения Петрарки нынче не всегда ясны. Очевидно лишь его желание избежать тематической монотонности.

Одно лишь наличие девяти редакций свидетельствует о неустанной, скрупулезнейшей работе Петрарки над "Канцоньере". Ряд стихотворений дошел до нас в нескольких редакциях, и по ним можно судить о направлении усилий Петрарки. Любопытно, что в ряде случаев, когда Петрарка был удовлетворен своей работой, он делал рядом с текстом соответствующую помету.

Работа над текстом шла в двух главных направлениях: удаление непонятности и

двусмысленности, достижение большей музыкальности.

На ранней стадии Петрарка стремился к формальной изощренности, внешней эlegantности, к тому, словом, что так нравилось современникам и перестало нравиться впоследствии. С годами, с каждой новой редакцией, Петрарка заботился уже о другом. Ему хотелось добиться возможно большей определенности, смысловой и образной точности, понятности и языковой гибкости. В этом смысле очень интересно суждение Карло Джезуальдо (конец XVI – начало XVII вв.), основателя знаменитой Академии музыки, прославившегося своими мадригалами. Про стих Петрарки он писал: "В нем нет ничего такого, что было бы невозможно в прозе". А ведь эта тяга к прозаизации стиха, в наше время особо ценящаяся, в прежние времена вызывала осуждение. В качестве образца такого намеренного упрощения стихотворной речи приводят XV сонет:

Я шаг шагну – и оглянусь назад. И ветерок из милого предела Напутственный ловлю...

Но вспомню вдруг, каких лишен отрад, Как долог путь, как смертного удела Размерен срок, – и вновь бреду несмело, И вот – стою в слезах, потупя взгляд.

В самом деле, отказавшись от стиховой разбивки и печатая этот текст в подбор, можно получить отрывок ритмически упорядоченной прозы. И это еще пользуясь переводом Вяч. Иванова, лексически и синтаксически несколько завышенного.

Странно, что такой пронизательный критик и знаток итальянской литературы, как Де Санктис, не увидел этой тенденции в Петрарке. Де Санктису казалось, что Петрарке свойственно обожествление слова не по смыслу, а по звучанию. А вот Д'Аннунцио, сам тяготевший к словесному эквилибризму, заметил эту тенденцию.

Единицей петрарковской поэзии является не слово, но стих или, вернее, ритмико-синтаксический отрезок, в котором отдельное слово растворяется, делается незаметным. Единице же этой Петрарка уделял преимущественное внимание, тщательно ее обрабатывал, батывал, оркестровал.

Чаще всего у Петрарки ритмико-синтаксическая единица заключает в себе какое-нибудь законченное суждение, целостный образ. Это прекрасно усмотрел великий Г. Р. Державин, который в своих переводах из Петрарки жертвовал даже сонетной формой ради сохранения содержательной стороны его поэзии.

Показательно и то, что Петрарка относится к ничтожному числу тех итальянских поэтов, чьи отдельные стихи вошли в пословицу.

Как общая закономерность слово у Петрарки не является поэтическим узлом. В работах о Петрарке отмечалось, что встречающаяся в отдельных его стихотворениях некоторая "прециозность" носит характер скорее концептуальный, чем вербальный. Хотя, конечно, есть примеры и обратные. Примером может служить V сонет; он построен на обыгрывании имени Ла-у-ре-та:

Когда, возжаждав отличиться много,
Я ваше имя робко назову –
ХваЛА божественная наяву
Возносится от первого же слога.
Но некий голос Умеряет строго
Мою РЕшимость, как по волшебству:
Вассалом сТАть земному божеству –

Можно было бы сослаться и на сонет CXLVIII, первая строфа которого целиком состоит из звучных географических названий.

Интересно, что этот рафинированно-виртуозный, "второй" Петрарка, особенно бросался в глаза и многим критикам, а еще больше переводчикам. Эта ложная репутация, сложившаяся не без помощи эпигонов-петраркистов, воспринявших лишь виртуозную сторону великого поэта, сказалась на многих переводческих работах. В частности, и у нас в России. Словесная вычурность, нарочитая синтаксическая усложненность, за редкими

исключениями, почти общая болезнь.

К сожалению, репутация эта оказалась довольно устойчивой. С легкой руки романтиков, отметивших тягу "второго" Петрарки как несомненный, с их точки зрения, порок, этот "второй" Петрарка надолго если не заслонил, то значительно искажил "первого" и "главного" Петрарку, который и позволил ему стать одним из величайших поэтов мира.

В приложении к "Книге песен" даются два письма Петрарки, носящих автобиографический характер. Они не только интересны сами по себе. Они, как думается, помогут читателю глубже разобраться и оценить "Канцоньере". В каком-то смысле они являются бесценным к нему комментарием.

Сам "Канцоньере" печатается в несколько необычном виде. Обычно стихотворения, его составляющие, печатаются вперемешку, со сплошной нумерацией. То есть так, как это было зафиксировано в упоминавшемся Ватиканском кодексе. Печатаемая сборник целиком, такой порядок беспорядок.

В данном же издании полностью печатаются только сонеты – самая известная и распространенная часть сборника. Остальные же стихотворные пьесы (канцоны, баллады, мадригалы и секстины) – выборочно. Отобраны, как нам кажется, наиболее значительные и интересные из них и к тому же в переводе одного поэта. Отсюда два раздела: сонеты и другие стихотворения.

Для интересующихся творчеством Петрарки приводим самую основную библиографию работ и изданий на русском языке.

Работы о Петрарке: А. Н. Веселовский. Петрарка в поэтической исповеди "Canzoniere". СПб., 1912; Мих. Корелин. Ранний итальянский гуманизм и его историография, т. 2 (Франческо Петрарка. Его критики и биографы), изд. 2-е. СПб., 1914; Р. Хлодовский. Франческо Петрарка. М., "Наука", 1974.

Основные русские издания Петрарки:

Петрарка. Избранные сонеты и канцоны в переводах русских писателей ("Русская классическая библиотека" под редакцией А. Н. Чудинова, выпуск XI). СПб., 1898; Петрарка. Автобиография. Исповедь. Сонеты. Перевод М. Гершензона и Вяч. Иванова ("Памятники мировой литературы"). М., 1915; Петрарка. Избранная лирика. Перевод А. Эфроса. М., 1953; 2-е изд. – 1955; Франческо Петрарка. Книга песен (в переводах разных поэтов). М., 1963; Франческо Петрарка. Избранная лирика. Перевод Е. Солоновича. М., 1970; Франческо Петрарка. Избранное. Автобиографическая проза. Сонеты. М., 1974.

Н. Томашевский

КНИГА ПЕСЕН

Перевод с итальянского

СОНЕТЫ НА ЖИЗНЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ

I

В собранье песен, верных юной страсти,
Щемящий отзвук вздохов не угас
С тех пор, как я ошибся в первый раз,
Не ведая своей грядущей части.
У тщетных грез и тщетных мук во власти,
Мой голос прерывается подчас,
За что прошу не о прощенье вас,
Влюбленные, а только об участие,

Ведь то, что надо мной смеялся всяк,
Не значило, что судьи слишком строги:
Я вижу нынче сам, что был смешон.
И за былую жажду тщетных благ
Казню теперь себя, поняв в итоге,
Что радости мирские – краткий сон.

II

Я поступал ему наперекор,
И все до неких пор сходило гладко,
Но вновь Амур прицелился украдкой,
Чтоб отомстить сполна за свой позор.
Я снова чаял дать ему отпор,
Вложив в борьбу все силы без остатка,
Но стрелы разговаривают кратко,
Тем более что он стрелял в упор.
Я даже не успел загородиться,
В мгновенье ока взятый на прицел,
Когда ничто грозы не предвещало,
Иль на вершине разума укрыться
От злой беды, о чем потом жалел,
Но в сожаленьях поздних проку мало.

III

Был день, в который, по Творце вселенной
Скорбя, померкло Солнце... Луч огня
Из ваших глаз врасплох настиг меня:
О госпожа, я стал их узник пленный!
Гадал ли я, чтоб в оный день священный
Была потребна крепкая броня
От нежных стрел? что скорбь страстного дня
С тех пор в душе пребудет неизменной?
Был рад стрелок! Открыл чрез ясный взгляд
Я к сердцу дверь – беспечен, безоружен...
Ах! ныне слезы лью из этих врат.
Но честь ли богу – влить мне в жилы яд,
Когда, казалось, панцирь был ненужен?
Вам – под фатой таить железо лат?

IV

Кто мирозданье создал, показав,
Что замысел творца не знал изъяна,
Кто воплотил в планетах мудрость плана,
Добро одних над злом других подняв;
Кто верный смысл ветхозаветных глав
Извлек из долголетнего тумана

И рыбаков Петра и Иоанна
На небе поместил, к себе призвав,
Рождением не Рим, но Иудею
Почтил, затем что с самого начала
Смиренье ставил во главу угла,
И ныне городку, каких немало,
Дал солнце – ту, что красотой своею
Родному краю славу принесла.

V

Когда, возжаждав отличиться много,
Я ваше имя робко назову
Хвала божественная наяву
Возносится от первого же слога.
Но некий голос Умеряет строго
Мою решимость, как по волшебству:
Вассалом сТАть земному божеству
Не для тебя подобная дорога.
Так будь прославлен, несравненный лик,
Услышь, к тебе с хвалою восхищенной,
Как все кругом, стРЕмлюсь я каждый миг,
Ведь Аполлон не менее велик,
Когда его листве вечнозеленой
Хвалу досТАвит дерзостный язык.

VI

Настолько безрассуден мой порыв,
Порыв безумца, следовать упорно
За той, что впереди летит проворно,
В любовный плен, как я, не угодив,
Что чем настойчивее мой призыв:
"Оставь ее!" – тем более тлетворна
Слепая страсть, поводьям не покорна,
Тем более желаний конь строптив.
И, вырвав у меня ремянный повод,
Он мчит меня, лишив последней воли,
Туда, где лавр над пропастью царит,
Отведать мне предоставляя повод
Незрелый плод, что прибавляет боли
Скорей, чем раны жгучие- целит.

VII

Обжорство, леность мысли, праздный пух
Погубят в людях доброе начало:
На свете добродетелей не стало,
И голосу природы смертный глух.

На небе свет благих светил потух
И жизнь былую форму потеряла,
И среди нас на удивленье мало
Таких, в ком песен не скудеет дух.
"Мечтать о лавре? Мирту поклоняться?
От Философии протянешь ноги!"
Стяжателей не умолкает хор.
С тобой, мой друг, не многим по дороге:
Тем паче должен ты стези держаться
Достойной, как держался до сих пор.

VIII

Среди холмов зеленых, где сначала
Облечена была земною тканью
Красавица, чтоб к новому страданию
Она того, кто шлет нас, пробуждала,
Свобода наша прежняя блуждала,
Как будто можно вольному созданию
Везде бывать по своему желанию
И нет силков, нет губительного жала:
Однако в нашей нынешней неволе,
Когда невзгоды наши столь суровы,
Что гибель неизбежна в нашей доле,
Утешиться мы, бедные, готовы:
Тот, кто поймал доверчивых дотолле,
Влачит наитягчайшие оковы.

IX

Когда часы делящая планета
Вновь обретает общество Тельца,
Природа видом радуется сердца,
Сияньем огненных рогов согрета.
И холм и дол – цветами все одето,
Звенят листвою свежей деревца,
Но и в земле, где ночи нет конца,
Такое зреет лакомство, как это.
В тепле творящем польза для плода.
Так, если солнца моего земного
Глаза-лучи ко мне обращены,
Что ни порыв любовный, что ни слово
То ими рождено, но никогда
При этом я не чувствую весны.

X

Колонна благородная, залог
Мечтаний наших, столп латинской чести,

Кого Юпитер силой грозной мести
С достойного пути столкнуть не смог,
Дворцов не знает этот уголок,
И нет театра в этом тихом месте,
Где радостно спускаться с Музой вместе
И подниматься на крутой отрог.
Все здесь над миром возвышает разум,
И соловей, что чуткий слух пленяет,
Встречая пенъем жалобным рассвет,
Любовной думой сердце наполняет;
Но здешние красоты меркнут разом,
Как вспомню, что тебя меж нами нет.

ХII

Коль жизнь моя настолько терпелива
Пребудет под напором тяжких бед,
Что я увижу вас на склоне лет:
Померкли очи, ясные на диво,
И золотого нет в кудрях отлива,
И нет венков, и ярких платьев нет,
И лик игрою красок не согрет,
Что вынуждал меня роптать пугливо,
Тогда, быть может, страх былой гоня,
Я расскажу вам, как, лишен свободы,
Я изнывал все больше день от дня,
И если к чувствам беспощадны годы,
Хотя бы вздохи поздние меня
Пускай вознаградят за все невзгоды.

ХIII

Когда в ее обличий проходит
Сама Любовь меж сверстниц молодых,
Растет мой жар, – чем ярче жен других
Она красой победной превосходит.
Мечта, тот миг благословляя, бродит
Близ мест, где цвел эдем очей моих.
Душе скажу: "Блаженство встреч таких
Достоиную ль, душа, тебя находит?
Влюбленных дум полет предначертан
К Верховному, ея внушеньем, Благу.
Чувств низменных – тебе ль ласкать обман?
Она идти к пределу горних стран
Прямой стезей дала тебе отвагу:
Надейся ж, верь и пей живую влагу".

ХV

Я шаг шагну – и оглянусь назад.
И ветерок из милого предела
Напутственный ловлю... И ношу тела
Влачу, усталый, дале – рад не рад.
Но вспомню вдруг, каких лишен отрад,
Как долог путь, как смертного удела
Размерен срок, – и вновь бреду несмело,
И вот – стою в слезах, потупя взгляд.
Порой сомненье мучит: эти члены
Как могут жить, с душой разлучены?
Она ж – все там! Ей дом – все те же стены!
Амур в ответ: "Коль души влюблены,
Им нет пространств; земные перемены
Что значат им? Они, как ветер, вольны".

XVI

Пустился в путь седой как лунь старик
Из отчих мест, где годы пролетели;
Родные удержать его хотели,
Но он не знал сомнений в этот миг.
К таким дорогам дальним не привык,
С трудом влачится он к заветной цели,
Превозмогая немощь в древнем теле:
Устать устал, но духом не поник.
И вот он созерцает образ в Риме
Того, пред кем предстать на небесах
Мечтает, обретя успокоенье.
Так я, не сравнивая вас с другими,
Насколько это можно – в их чертах
Найти стараюсь ваше отражение.

XVII

Вздыхаю, словно шелестит листвою
Печальный ветер, слезы льются градом,
Когда смотрю на вас печальным взглядом,
Из-за которой в мире я чужой.
Улыбки вашей видя свет благой,
Я не тоскую по иным уладам,
И жизнь уже не кажется мне адом,
Когда люблюсь вашей красотой.
Но стынет кровь, как только вы уйдете,
Когда, покинут вашими лучами,
Улыбки роковой не вижу я.
И, грудь открыв любовными ключами,
Душа освобождается от плоти,
Чтоб следовать за вами, жизнь моя.

XVIII

Я в мыслях там, откуда свет исходит,
Земного солнца несказанный свет,
Затмившего от взора белый свет,
И сердце в муках пламенных исходит.
Отсюда и уверенность исходит,
Что близок час, когда покину свет.
Бреду сродни утратившему свет,
Кто из дому невесть зачем исходит.
Но, смерти на челе неся печать,
Любовную храню от смерти жажду,
И, чтоб людей сочувственному плачу
Не обречь, безмолвия печать
Уста мои сомкнула: я не жажду,
Чтобы другие знали, как я плачу.

XIX

Есть существа, которые глядят
На солнце прямо, глаз не закрывая;
Другие, только к ночи оживая,
От света дня оберегают взгляд.
И есть еще такие, что летят
В огонь, от блеска обезумевая;
Несчастных страсть погубит роковая;
Себя не даром ставлю с ними в ряд.
Красою этой дамы ослепленный,
Я в тень не прячусь, лишь ее замечу,
Не жажду, чтоб скорее ночь пришла.
Слезится взор, однако ей навстречу
Я устремляюсь, как замороженный,
Чтобы в лучах ее сгореть дотла.

XX

О вашей красоте в стихах молчу
И, чувствуя глубокое смущенье,
Хочу исправить это упущенье
И к первой встрече памятью лечу.
Но вижу – бремя мне не по плечу,
Тут не поможет все мое уменье,
И знает, что бессильно, вдохновенье,
И я его напрасно горячу.
Не раз преисполнялся я отваги,
Но звуки из груди не вырывались.
Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь?
Не раз перо я подносил к бумаге,
Но и рука, и разум мой сдавались
На первом слове. И опять сдались.

XXI

Не раз, моя врагиня дорогая,
Я в знак того, что боя не приму,
Вам сердце предлагал, но вы к нему
Не снизошли, гордыне потакая.
О нем мечтает, может быть, другая,
Однако тщетно, не бывать тому:
Я не хозяин сердцу своему,
Отринутое вами отвергая.
Когда оно, отторгнутое мной,
Чужое вам, не может быть одно,
Равно как предпочесть другие двери,
Утратит путь естественный оно,
Мне кажется, и этому виной
Мы будем оба – правда, в разной мере.

XXIV

Когда бы мне листвою горделивой,
Которая для молний под запретом,
Днесь был венец дарован, как поэтам,
Увенчанным хвалою справедливой,
Богинь почтил бы верностью счастливой
Я сам, хоть грешный век враждебен в этом,
Но мой недуг перечит всем заветам,
Запечатленным первою оливой;
Не столь горюч песок в пустыне знойной,
Небесными расплавленный лучами,
Как я в моей печали недостойной:
Утрат моих не скрою перед вами:
Ищите влаги более спокойной,
Чем слезный ток, отравленный очами.

XXV

Амур скорбел – и ничего другого
Не оставалось мне, как плакать с ним,
Когда, найдя, что он невыносим,
Вы отвернулись от него сурово.
Но вот я вижу вашу душу снова
На истинном пути, так воздадим
Хвалу Тому, кто внял мольбам моим,
Кто слышит наше праведное слово.
И если, как нарочно, там и тут
Вершины или пропасти опять
Топтаться вынуждают вас на месте,
То лишь затем, чтоб вы могли понять,

Не отступая, сколь тернист и крут
Подъем, ведущий смертных к высшей чести.

XXVI

Я счастлив больше, чем гребцы челна
Разбитого: их шторм загнал на рей
И вдруг земля, все ближе, все яснее,
И под ногами наконец она;
И узник, если вдруг заменена
Свободой петля скользкая на шее,
Не больше рад: что быть могло глупее,
Чем с повелителем моим война!
И вы, певцы красавиц несравненных,
Гордитесь тем, кто вновь стихом своим
Любовь почтил, – ведь в царствии блаженных
Один раскаявшийся больше чтим,
Чем девяносто девять совершенных,
Быть может, здесь пренебрегавших им.

XXVII

Благой король, на чьем челе корона
Наследная, готов громить врага
И обломать поганые рога
Безжалостным сатрапам Вавилона.
И с нетерпеньем ждет родное лоно,
Что Божий самый ревностный слуга
На тибрские вернется берега,
Не претерпевши на пути урона.
Не бойся, что тебе готовят ков:
Твой нежный агнец истребит волков
Пусть каждый хищник станет осторожен!
Так воплоти мечту сегодня в явь
И Рим в его надеждах не оставь:
Христу во славу меч достань из ножен!

XXXI

Высокая душа, что свой уход
До времени в иную жизнь свершает,
Получит сан, какой ей подобает,
И в лучшей части неба мир найдет;
Мне Марсом и Венерой ли взойдет
Она звездой, – солнце утеряет
Свой блеск, узрев, как жадно обступает
Ее блаженных духов хоровод;
Четвертую ли сферу над главою
Она увидит, – в троице планет

Не будет ей подобных красотою;
На пятом небе ей приюта нет,
Но, выше взмыв, она затмит собою
Юпитера и звезд недвижных свет.

XXXII

Чем ближе мой последний, смертный час,
Несчастий человеческих граница,
Тем легче, тем быстрее время мчится,
Зачем же луч надежды не погас!
Внушаю мыслям: – Времени у нас
Не хватит о любви наговориться:
Земная тяжесть в землю возвратится,
И мы покой узнаем в первый раз.
В небытие, как плоть, надежда канет,
И ненависть и страх, и смех и слезы
Одновременно свой окончат век,
И нам при этом очевидно станет,
Как часто вводят в заблужденье грезы,
Как может в призрак верить человек.

XXXIII

Уже заря румянила восток,
А свет звезды, что немила Юноне,
Еще сиял на бледном небосклоне
Над полюсом, прекрасен и далек;
Уже старушка вздула огонек
И села прясть, согрев над ним ладони,
И, помня о неписаном законе,
Любовники прощались – вышел срок,
Когда моя надежда, увядая,
Не прежнюю пришла ко мне дорогой,
Размытой болью и закрытой сном,
И как бы молвила, едва живая:
"Не падай духом, не смотри с тревогой.
Твой взор еще увидит жизнь в моем".

XXXIV

Коль скоро, Аполлон, прекрасный пыл
Досель в тебе не знает оскуденья
И золотые кудри от забвенья
Поныне ты любовно сохранил,
От стужи, от других враждебных сил,
Что твоего трепещут появленья,
Защитой будь священного растенья,
Где цепкий клей, как видишь, не застыл.

Любовной грезой вдохновясь, как в пору,
Когда ты жил среди простого люда,
Прогнав туман, яви погожий день,
И чудо нашему предстанет взору:
Она сидит на травке – наше чудо,
Сама сплетая над собою сень.

XXXV

Задумчивый, медлительный, шагаю
Пустынными полями одиноко;
В песок внимательно вперяя око,
След человека встретить избегаю.
Другой защиты от людей не знаю:
Их любопытство праздное жестоко,
Я ж, холоден к житейскому до срока,
Всем выдаю, как изнутри пылаю.
И ныне знают горы и долины,
Леса и воды, как сгорает странно
Вся жизнь моя, что недоступна взорам.
И пусть пути все дики, все пустынны,
Не "скрыться мне: Амур здесь постоянно,
И нет исхода нашим разговорам.

XXXVI

Поверить бы, что смерть меня спасет
От злой любви, и не давать поруки,
Что на себя не наложу я руки
И не сложу любовных мыслей гнех!
Но знаю – это был бы переход
От слез к слезам, от муки к новой муке,
И, с жизнью приготовившись к разлуке,
Я – ни назад ни шагу, ни вперед.
Для роковой стрелы пора приспела,
И я ее за счастье почту,
Не сомневаясь в точности прицела.
О чем еще Любовь просить и ту,
Что для меня белил не пожалела?
И как пробить мольбами тухоту?

XXXVII

Нет, Орсо, не рекам, бегущим с гор,
Не веткам, что густую сень соткали,
И не туманам, застелившим дали,
И не озерам, не холмам в укор
Я начинаю этот разговор,
Они б моим глазам не помешали,

Не в них моя беда, но в покрывале,
Которое сокрыло милый взор.
И то, что долу, волею гордыни
Иль скромности, опущен вечно он,
Влечет меня к безвременной кончине.
И, наконец, на боль я обречен
Рукой лилейной, чуждой благостыни,
Препоной взгляду меж других препон.

XXXVIII

Меня страшит немилосердный взгляд,
Где, надо мною власть себе присвоив,
Живет Амур, – и, как шалун побоев,
Бегу очей, что смерть мою таят.
И нет вершин, и нет таких преград,
Какие воля не возьмет, усвоив,
Что незачем изображать героев,
Когда свести в могилу нас хотят.
Из страха вновь себя подвергнуть казни,
Я отложить пытался нашу встречу
И, несомненно, заслужил упрек.
Но в оправдание свое замечу,
Что если я не уступил боязни,
То это – верности моей залог.

XL

Когда Амур иль Смерть в середине слова
Начатой мною ткани не порвут,
Когда, освободясь от цепких пут,
Рассказы сочетать сумею снова,
Быть может, с речью времени бывшего
Речь наших дней сплетет искусный труд
И люди весть до Рима донесут
Страшусь сказать! – о том, как это ново.
Но часто мне для моего труда
Недостает благословенных нитей,
Которые мне Ливии мог бы дать.
По-дружески мне руку протяните
(Вы не бывали жадны никогда),
Чтоб мог и я прекрасное создать.

XLI

Когда из рощи Дафна прочь уйдет
Горнило вспыхнет в кузнице Вулкана:
За тяжкий труд кузнец берется рьяно
И стрелы для Юпитера кует.

Бушует снег, и намерзает лед,
Померк июль под натиском бурана,
Спустился Феб за пелену тумана
И вдалеке свою подругу ждет.
Злокозненные звезды Ориона
В открытом море губят корабли.
Сатурн и Марс ярятся распадение
Трубят Эол во всех концах земли,
Нептун встревожен, мечется Юнона
Когда Она скрывается вдали.

XLII

Но стоит улыбнуться ей, нежданно
Явив пред нами тысячи красот,
В глубинах Монджибелло труд замрет
Хромого Сицилийца-великана.
Юпитер стрелы кузнеца Вулкана
В колчан миролюбиво уберет;
Восходит Феб на ясный небосвод,
И с ним Юнона вновь благоуханна.
Цветы и травы землю облекли,
Зефир к востоку реет неуклонно,
И кормчим покоряются рули,
Уходят злые тучи с небосклона,
Узнав Ее прекрасный лик вдали,
Той, по которой слезы лью бессонно.

XLIII

Латоны сын с небесного балкона
Высматривал уже в девятый раз
Ту, по которой, как другой сейчас,
Вздыхал напрасно он во время оно.
Но тщетно. И несчастный сокрушенно
Нахмурился, напоминая нас,
Когда не видим мы любимых глаз
И нам не удержать разлуки стона.
И, предаваясь горю без границ,
Он не заметил, как явилась снова
Достойная бесчисленных страниц.
И слезы сострадания живого
Блестели на печальнейшем из лиц,
И твердь осталась, как была, сурова.

XLIV

Кто, проявив неумолимый нрав,
Не пощадил сограждан при Фарсале,

Всплакнул над мужем дочкиным в опале,
Помпея в мертвой голове узнав,
И тот, кто был сильней, чем Голиаф,
Над мертвым сыном волю дал печали,
Когда сполна бунтовщику воздали,
И над Саулом плакал, в горе впав.
А вы, которой чуждо состраданье,
Вы с вашей осторожностью предельной,
Когда Амур за вами лук ведет,
Виновница беды моей смертельной,
В глазах несете лишь негодование,
И ни слезы из них не упадет.

XLV

Мой постоянный недоброжелатель,
В ком тайно вы любуетесь собой,
Пленяет вас небесной красотой,
В которой смертным отказал Создатель.
Он вам внушил, мой злобный, неприятель,
Лишить меня обители благой,
И сени, что достойна вас одной,
Увы! я был недолго обитатель.
Но если прочно я держался там,
Тогда любовь к себе самой внушать
Вам зеркало едва ль имело право.
Удел Нарцисса уготовлен вам,
Хоть нет на свете трав, достойных стать
Цветку неповторимому оправой.

XLVI

И золото, и жемчуг, и лилеи,
И розы – все, что вам весна дала
И что к зиме увянет без тепла, v
Мне грудь язвит жестоких терний злее.
И все ущербней дни, все тяжелее,
Не может быть, чтоб долго боль жила,
Однако главный бич мой – зеркала,
Которые для вас всего милее.
Амура их убийственная гладь
Молчанью обрекла, хотя, бывало,
Вы соглашались обо мне внимать
Их преисподняя отшлифовала,
И Лета им дала свою печать:
Отсюда – моего конца начало

XLVII

Я чувствовал – оправданна тревога,
Вдали от вас не властен жизнь вдохнуть
Никто в мою хладеющую грудь,
Однако жажда жизни в нас от Бога,
И я желанье отпустил немного,
Направляя на полузабытый путь,
А ныне вновь кричу ему: "Забудь!"
И – дерг поводья: "Вот твоя дорога!"
Я знал, что оживу при виде вас,
Которую увижу вновь не скоро,
Боясь, что ваши очи оскорблю.
Отсрочку получив на этот раз,
Боюсь, недолго проживу, коль скоро
Желанью видеть вас не уступлю.

XLVIII

Огню огонь предела не положит,
Не сядут от дождя глубины вод,
Но сходным сходное всегда живет,
И чуждым чуждое питаться может.
А ты, Амур, чья власть сердца тревожит,
Вещей привычный нарушаешь ход,
И чем сильнее к любимым нас влечет,
Тем большее бессилье душу гложет.
Как жителей окрестных деревень
Струей в верховьях оглушает Нил,
Как солнца не выдерживают взоры,
Так и с душою несогласный пыл,
Должно быть, убывает что ни день:
Горячему коню – помехой шпоры.

XLIX

По мере сил тебя предостеречь
Старался я от лжи высокопарной,
Я славу дал тебе, неблагодарный,
И сам теперь готов тебя отсечь.
Когда мне нужно из тебя извлечь
Мольбу к любимой, ты молчишь, коварный,
А если не молчишь, язык бездарный,
То, как во сне, твоя бессвязна речь.
И вы, мои мучители ночные,
Ну где ж вы, слезы? Нет чтобы излиться
Перед любимой, жалость пробудив.
И с вами, вздохи, не хочу мириться,
Затем что вы пред нею – как немые.
Лишь облик мой всегда красноречив.

LI

Когда б моим я солнцем был пригрет
Как Фессалия видела в смущенье
Спасаящейся Дафны превращенье,
Так и мое узрел бы дольний свет.
Когда бы знал я, что надежды нет
На большее слиянье (о, мученье!),
Я твердым камнем стал бы в огорченье,
Бесчувственным для радостей и бед.
И, мрамором ли став, или алмазом,
Бросающим скупую жадность в дрожь,
Иль яшмою, ценимой так высоко,
Я скорбь мою, я все забыл бы разом
И не был бы с усталым старцем схож,
Гигантской тенью застившим Марокко.

LVI

Отсрочив милосердную отраду,
Слепою жаждой сердце поражая,
Мгновенья бередают мою досаду,
И речь моя вредит мне, как чужая.
Какая тень расти мешает саду,
Плодам обетованным угрожая?
Что там за зверь грозит в загоне стаду?
Кто не дает собрать мне урожая?
Подобным упованием строптивым
Амур меня казнит не без причины:
Надеяться больней нетерпеливым;
И нахожу совет я справедливым:
Пока не дожил смертный до кончины,
Не называйте смертного счастливым.

LVII

Мгновенья счастья на подъем ленивы,
Когда зовет их алчный зов тоски,
Но, чтоб уйти, мелькнув, – как тигр, легки.
Я сны ловить устал. Надежды лживы.
Скорей снега согреются, разливы
Морей иссохнут, невод рыбаки
В горах закинут, там, где две реки,
Евфрат и Тигр, влачат свои извивы
Из одного истока, Феб зайдет,
Чем я покой найду иль от врагини,
С которой ковы на меня кует
Амур, мой бог, дождуся благостыни.
И мед скупой – устам, огонь полыни
Изведавшим, – не сладок, поздний мед!

На первый дар, синьор мой, отдохнуть
Склоняйтесь вы щекой, от слез усталой,
И на Амура сердце как попало
Не тратьте, сколь суров он к вам ни будь.
Вторым вы прикрывайте слева грудь
От стрел его, которых здесь немало
И летом и зимою пролетало,
Один и тот же пролагая путь.
Чтоб утолить сердечные печали,
Из третьего травы вкушайте сок:
Он сладостен в конце, горчит вначале.
И – дерзости б вы тут не увидали!
Стигийский не страшит меня челнок,
Питай лишь вы приязнь ко мне и дале.

LX

Мой слабый дар в тени своих ветвей
Питало благородное растенье,
Хотя ко мне не знало снисхожденья
И мукой не тревожилось моей.
Жестокостью я ранен тем сильней,
Что в доброте его не знал сомненья,
И вот я устремляю помышленья
К тому, чтоб горе высказать полней.
Ужель меня помянет добрым словом,
Кому мой стих в любви опорой был,
Но кто утратил все свои надежды?
Тот лавр не наградит поэта пыл,
От молний не послужит он покровом,
И солнце жжет ветвей его одежды.

LXI

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!
Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!
Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны,
Дум золотых о ней, единой, сплав!

LXII

Бесмысленно теряя дни за днями,
Ночами бредя той, кого люблю,
Из-за которой столько я терплю,
Заворожен прекрасными чертами,
Господь, молю – достойными делами,
Позволь, свое паденье испуплю
И дьявола немало посрамлю
С его вотще сплетенными сетями.
Одиннадцатый на исходе год
С тех пор, как я томлюсь под гнетом злым,
Отмеченный жестокою печатью.
Помилуй недостойного щедрот,
Напомни думам сбивчивым моим,
Как в этот день ты предан был распятью.

LXIV

Когда, являя знаки нетерпенья,
Смыкая взор, качая головой
Иль торопясь быстрее любой другой
Избавиться от даней преклоненья,
Могли бы вы бежать без сожаленья
Из груди, где разросся лавр молодой
Листвой любви, – я б счел побег такой
Естественным итогом отвращенья.
В сухой земле изысканный росток
Не может жить – и тянется законно
Куда-нибудь, где край не так суров;
Но так как вам не позволяет рок
Уйти отсюда, – постарайтесь, Донна,
Не вечно ненавидеть этот кров.

LXV

Я не был к нападению готов,
Не знал, что пробил час моей неволи,
Что покорюсь Амуру – высшей воле,
Еще один среди его рабов.
Не верилось тогда, что он таков
И сердце стойкость даже в малой доле
Утратит с первым ощущеньем боли.
Удел самонадеянных суров!
Одно – молить Амура остается:
А вдруг, хоть каплю жалости храня,
Он благосклонно к просьбе отнесется.
Нет, не о том, чтоб в сердце у меня
Умерить пламя, но пускай придется
Равно и ей на долю часть огня.

LXVII

Завидев левый берег в Тирренском море,
Где стонут волны неумолчным стоном,
Листву, давно мне ставшую законом,
Там распознал я вдруг с тоской во взоре.
Напомнив кудри, светлые на горе,
Амур повлек меня к заветным склонам,
Там был ручей, невидимый в зеленом,
И я в него, как мертвый, рухнул вскоре.
Среди холмов, не знающих тревоги,
Ожить мне стыд помог в моем уделе,
И я бы не хотел другой подмоги.
Я жил, не осушая глаз, доселе,
А лучше было промочить мне ноги,
Когда бы только мне везло в апреле.

LXVIII

Священный город ваш, любезный Богу,
Меня терзает за проступок мой,
"Одумайся!" – крича, и мне прямой
Путь указывает к светлому чертогу.
Другая дума тут же бьет тревогу
И говорит: "Куда бежишь? Постой,
Давно не видясь с нашей госпожой,
Ты что – нарочно к ней забыл дорогу?"
Речами душу леденит она,
Как человеку – смысл недоброй вести,
Когда внезапно весть принесена.
И снова первая уже на месте
Второй. Когда же кончится война?
Кто победит из них на поле чести?

LXIX

Я понимал, Амур, – любовь сильнее,
Чем осмотрительность с любовью в споре,
Ты лгал не раз со мною в разговоре,
Ты цепкость доказал твоих когтей.
Но как ни странно, это мне ясней
Теперь, когда, несчастному на горе,
Ты о себе напомнил в бурном море
Меж Эльбой и Тосканою моей.
Под странника безвестного личиной
Я от тебя бежал, и волн гряда
Вставала за грядою над пучиной,
И вдруг – твоих посланников орда

И дружный хор над бездною пустынной:
"Стой! От судьбы не скрыться никуда!"

LXXIV

Я изнемог от безответных дум
Про то, как мысль от дум не изнеможет
О вас одной; как сердце биться может
Для вас одной; коль день мой столь угрюм
И жребий пуст – как жив я; как мой ум
Пленительной привычки не отложит
Мечтать о вас, а лира зовы множит,
Что брег морской – прибоя праздный шум.
И как мои не утомились ноги
Разыскивать следы любимых ног,
За грезою скитаясь без дороги?
И как для вас я столько рифм сберег?
Которые затем порой не строги,
Что был Амур к поэту слишком строг.

LXXV

Язвительны прекрасных глаз лучи,
Пронзенному нет помощи целебной
Ни за морем, ни в силе трав волшебной
Болящему от них – они ж врачи
Кто скажет мне: "Довольно, замолчи!"
Все об одной поет твой гимн хвалебный!"
Пусть не меня винит, – их зной враждебный,
Что иссушил другой любви ключи.
Творите вы, глаза, непобедимым
Оружие, что точит мой тиран,
И стонут все под игом нестерпимым.
Уж в пепл истлел пожар сердечных ран,
Что ж день и ночь лучом неотвратимым
Вы жжете грудь? И петь вас – я ж избран

LXXVI

Амур, прибегнув к льстивому обману,
Меня в темницу древнюю завлек
И ключ доверил, заперев замок,
Моей врагине, моему тирану.
Коварному осуществиться плану
Я сам по легковерию помог.
Бежать! – но к горлу подступил комок,
Хочу воспрять – и страшно, что воспряну.
И вот гремлю обрывками цепей,
В глазах потухших можно без запинки

Трагедию прочесть души моей.
Ты скажешь, не увидев ни кровинки
В моем лице: "Он мертвеца бледней
Хоть нынче по нему справляй поминки!"

LXXVII

Меж созданных великим Поликлетом
И гениями всех минувших лет
Меж лиц прекрасных не было и нет
Сравнимых с ним, стократно мной воспетым,
Но мой Симоне был в раю – он светом
Иных небес подвигнут и согрет,
Иной страны, где та пришла на свет,
Чей образ обессмертил он портретом.
Нам этот лик прекрасный говорит,
Что на земле – небес она жилица,
Тех лучших мест, где плотью дух не скрыт,
И что такой портрет не мог родиться,
Когда художник с неземных орбит
Сошел сюда – на смертных жен дивиться.

L XXVIII

Когда, восторгом движимый моим,
Симоне замышлял свое творенье,
О если б он, в высоком устремленье,
Дал голос ей и дух чертам живым.
Я гнал бы грусть, приглядываясь к ним,
Что любо всем, того я ждал в волненье,
Хотя дарит она успокоенье
И благостна, как божий херувим.
Беседой с ней я часто ободрен
И взором неизменно благосклонным.
Но все без слов... А на заре времен
Богов благословлял Пигмалион.
Хоть раз бы с ней блаженствовать, как он
Блаженствовал с кумиром оживленным.

LXXIX

Когда любви четырнадцатый год
В конце таким же, как вначале, будет,
Не облегчит никто моих невзгод,
Никто горячей страсти не остудит.
Амур вздохнуть свободно не дает
И мысли к одному предмету нудит,
Я изнемог: мой бедный взгляд влечет
Все время та, что скорбь во мне лишь будит.

Я потому и таю с каждым днем,
Чего не видит посторонний взор,
Но не ее, что шлет за мукой муку.
Я дотянул с трудом до этих пор;
Когда конец – не ведаю о том,
Но с жизнью чую близкую разлуку.

LXXXI

Устав под старым бременем вины
И тягостной привычки, средь дороги
Боюсь упасть, боюсь, откажут ноги
И попаду я в лапы сатаны.
Бог низошел мне в помощь с вышины,
И милостив был лик, дотоле строгий,
Но он вознесся в горние чертоги,
И там его черты мне не видны.
А на земле гремит глагол доныне:
"Вот правый путь для страждущих в пустыне,
Презрев земное, обратись ко мне!"
Какая милость и любовь какая
Мне даст крыла, чтоб, землю покидая,
Я вечный мир обрел в иной стране?

LXXXII

Моей любви усталость не грозила
И не грозит, хотя на мне самом
Все больше с каждым сказывалась днем
И на душе от вечных слез уныло.
Но не хочу, чтоб надо мною было
Начертано на камне гробовом,
Мадонна, ваше имя – весть о том,
Какое зло мой век укоротило.
И если торжества исполнить вас
Любовь, не знающая пытки, может,
О милости прошу в который раз.
А если вам другой исход предложит
Презренье ваше, что же – в добрый час:
Освободиться мне Амур поможет.

LXXXIII

Пока седыми сплошь виски не станут,
Покуда не возьмут свое года,
Я беззащитен всякий раз, когда
Я вижу лук Любви, что вновь натянут.
Но вряд ли беды новые нагрянут
Страшнее, чем привычная беда:

Царапины не причинят вреда,
А сердце больше стрелы не достанут.
Уже и слезы не бегут из глаз,
Хоть им туда, как прежде, вedom путь,
И пренебречь они вольны запретом;
Жестокий луч еще согреет грудь,
Но не воспламенит, и сон подчас
Лишь потревожит, не прервав при этом.

LXXXIV

"Глаза! В слезах излейте грех любовный:
От вас на сердце смертная истома".
"Мы плачем, нам тоска давно знакома,
Но больше страждет более виновный".
"Допущен вами недруг безусловный,
Амур, туда, где быть ему, как дома".
"Не нами, в нас любовь была влекома,
И умирает более греховный"
"Покаяться бы вам в грехе злосчастном!
Вы первые виденья дорогого
Возжаждали в порыве самовластном".
"Мы понимаем: ничего благого
Ждать не пристало на суде пристрастном
Нам, осужденным за вину другого".

LXXXV

Всегда любил, теперь люблю душою
И с каждым днем готов сильней любить
То место, где мне сладко слезы лить,
Когда любовь томит меня тоскою.
И час люблю, когда могу забыть
Весь мир с его ничтожной суетою;
Но больше – ту, что блещет красотой,
И рядом с ней я жажду лучше быть.
Но кто бы ждал, что нежными врагами
Окружено все сердце, как друзьями,
Каких сейчас к груди бы я прижал?
Я побежден, Любовь, твоею силой!
И, если б я не знал надежды милой,
Где жить хочу, там мертвым бы упал!

LXXXVI

О эта злополучная бойница!
Смертельной ни одна из града стрел
Не стала для меня, а я хотел
В небытие счастливым погрузиться.

По-прежнему подлунная темница
Обитель мне – ведь я остался цел,
И невозможен горести предел,
Пока душа в моей груди ютится.
Понять, что время не направить вспять,
Извлечь достойный опыт из урока
Давно душе измученной пора.
Я пробовал ее увещевать:
– Не думай, что уходит прежде срока,
Кто слезы счастья исчерпал вчера.

LXXXVII

Отправив только что стрелу в полет,
Стрелок искусный предсказать берется,
Придется в цель она иль не придется,
Насколько точен был его расчет.
Так вы, Мадонна, знали наперед,
Что ваших глаз стрела в меня вопьется,
Что вечно мне всю жизнь страдать придется
И что слезами сердце изойдет.
Уверен, вы меня не пожалели,
Обрадовались: "Получай сполна!
Удар смертельный не минует цели".
И горькие настали времена:
Нет, вы не гибели моей хотели
Живая жертва недругу нужна.

LXXXVIII

Со мной надежда все играет в прятки,
Тогда как мне отпущен краткий срок.
Бежать бы раньше, не жалея ног!
Быстрее, чем галопом! Без оглядки!
Теперь трудней, но, сил собрав остатки,
Я прочь бегу, прижав рукою бок.
Опасность позади. Но я не смог
Стереть с лица следы неравной схватки.
Кто на пути к любви – очнись! Куда!
Кто ж не вернулся – бойся: одолеет
Безмерный жар, – как я, беги, не жди!
Из тысячи один спастись сумеет:
Моя врагиня как была тверда,
Но след стрелы – и у нее в груди.

LXXXIX

Я после долгих лет бежал из плена
Любовного – и, дамы, без конца

Рассказывать могу, как беглеца
Расстроила такая перемена.
Внушало сердце мне, что, несомненно,
Одно не сможет жить, как вдруг льстеца
Встречаю, кто любого мудреца
Предательством поставит на колена.
И вот уже, вздыхая о былом,
Я говорил: "Был сладостнее гнет,
Чем воля", – и цепей алкал знакомых.
Я слишком поздно понял свой просчет
И, пленник вновь, теперь с таким трудом
Невероятный исправляю промах.

XC

В колечки золотые ветерок
Закручивал податливые пряди,
И несказанный свет сиял во взгляде
Прекрасных глаз, который днесь поблек,
И лик ничуть, казалось, не был строг
Иль маска то была, обмана ради?
И дрогнул я при первой же осаде
И уберечься от огня не смог.
Легко, как двигалась она, не ходит
Никто из смертных; музыкой чудесной
Звучали в ангельских устах слова.
Живое солнце, светлый дух небесный
Я лицезрел... Но рана не проходит,
Когда теряет силу тетива.

ХСІ

Красавица, избранная тобою,
Внезапно нас покинула – и смело,
Как я надеюсь, в небо улетела:
Жила столь милой, тихою такою.
Тебе ж пора, взяв крепкою рукою
Ключи от сердца, коими владела,
За ней – прямой стезею – до предела.
Пусть не тягчим ты ношею земною;
От главной ты избавлен, хоть нежданно,
Теперь легко от прочих отрешиться,
Как страннику, обретшему свободу.
Ты видишь ныне: к смерти все стремится,
Что создано; душе идти желанно
Без груза к роковому переходу.

ХСІІ

Рыдайте, дамы. Пусть Амур заплачет.
Влюбленные, последний пробил час
Того, кто на земле прославил вас,
Кто сам любил и знал, что это значит.
Пусть боль моя стыдливо слез не прячет,
Пускай сухими не оставит глаз:
Умолк певца любви волшебный глас,
И новый стих уже не будет начат.
Настройтесь, песни, на печальный лад,
Оплакивая смерть мессера Чино.
Пистойцы, плачьте все до одного!
Рыдай, Пистойя, вероломный град,
Что сладкогласного лишился сына!
Ликуйте, небеса, приняв его!

XCIII

– Пиши, – Амур не раз повелевал,
Поведай всем по праву очевидца,
Как волею моей белеют лица,
Как жизнь дарю, сражая наповал.
Ты тоже умирал и оживал,
И все же мне пришлось с тобой проститься:
Ты знал, чем от меня отгородиться,
Но я настиг тебя, не сплеховал.
И если взор, в котором я однажды
Предстал тебе, чтобы в груди твоей
Создать редут, построить чудо-крепость,
Сопротивленье превратил в нелепость,
Быть может, слезы из твоих очей
Исторгну вновь – и не умру от жажды.

XCIV

Едва допущен в сердце пылким зреньем
Прекрасный образ, вечный победитель,
Сил жизненных растерянный блюстител
Всегда врасплох застигнут выдвореньем;
Усугубляя чудо повтореньем,
Изгнанник во враждебную обитель
Вторгается, неумолимый мститель,
И там грозит он тоже разореньем;
Влюбленные похожи друг на друга,
Когда в обоих жизненная сила
Обители свои переменяла
И смертный вред обоим причинила;
И распознать невелика заслуга
Печальный признак моего недуга.

ХСV

Когда бы чувства, полнящие грудь,
Могли наполнить жизнью эти строки,
То, как бы люди ни были жестоки,
Я мог бы жалость в каждого вдохнуть.
Но ты, сумевший мой булат согнуть,
Священный взор, зачем тебе упреки
Мои нужны и горьких слез потоки,
Когда ты в сердце властен заглянуть!
Лучу неудержимому подобен,
Что в дом заглядывает поутру,
Ты знаешь, по какой томлюсь причине.
Мне верность – враг, и тем сильнее Петру
Завидую в душе и Магдалине,
И только ты понять меня способен.

ХСVІ

Я так устал без усталы вздыхать,
Измученный тщетою ожиданья,
Что ненавидеть начал упованья
И о былой свободе помышлять.
Но образ милый не пускает вспять
И требует, как прежде, послушанья,
И мне покоя не дают страданья
Впервые мной испытанным под стать.
Когда возникла на пути преграда,
Мне собственных не слушаться бы глаз:
Опасно быть душе рабою взгляда.
Чужая воля ей теперь указ,
Свобода в прошлом. Так душе и надо,
Хотя она ошиблась только раз.

ХСVІІ

О высший дар, бесценная свобода,
Я потерял тебя и лишь тогда,
Прозрев, увидел, что любовь – беда,
Что мне страдать все больше год от года.
Для взгляда после твоего ухода
Ничто рассудка трезвого узда:
Глазам земная красота чужда,
Как чуждо все, что создала природа.
И слушать о других, и речь вести
Не может быть невыносимей муки,
Одно лишь имя у меня в чести.
К любой другой заказаны пути
Для ног моих, и не могли бы руки
В стихах другую так превознести.

ХСVIII

Любезный Орсо, вашего коня
Держать, конечно, можно на аркане,
Но кто удержит дух, что рвется к брани,
Бесчестия чураясь, как огня?
Не жалуйтесь, бездействие кляня.
Вы здесь, а он давно на поле брани,
И пусть вы недвижимы – на ристанье
Он – впереди, всех прочих обгоня.
Гордитесь тем, что он на людном месте
В урочный час и с тем вооруженьем,
Что кровь и возраст и любовь дарует,
Глася, что он горит желаньем чести,
А господин его, воображеньем
С ним слитый, в одиночестве горюет.

ХСIX

Надежды лгут, и, в торжестве обмана
Уверясь не однажды, как и я,
Примите мой совет – ведь мы друзья
О высшем благе помнить непрестанно.
Земная жизнь – как вешняя поляна,
Где прячется среди цветов змея:
Иные впечатленья бытия
Для наших душ – подобие капкана.
Чтоб раньше, чем придет последний час,
Душа покой нашла, чуждайтесь правил
Толпы: ее пример погубит вас.
Меня поднимут на смех: Позабавил!
Зовешь на путь, что сам терял не раз
И вновь – еще решительней – оставил.

С

И то окно светила моего,
Какое солнцу в час полдневный мило,
И то, где злой борей свистит уныло
Среди зимы, когда вокруг мертво;
И камень – летом любит на него
Она присесть одна, всегда любила;
И все края, где тень ее скользила
И где ступало это божество;
И место и пора жестокой встречи,
Будящая живую рану снова
В тот день, который муку мне принес;
И образ дорогой, и слово в слово

Отпечатленные душою речи,
Меня доводят каждый раз до слез.

СИ

Увы, любого ждет урочный час,
И мы бессильны изменить природу
Неумолимой той, кому в угоду
Недолго мир скорбит, лишившись нас
Еще немного – и мой день погас,
Но, продлевая вечную невзгоду,
Амур не отпускает на свободу,
Привычной дани требуя у глаз
Я знаю хорошо, что годы кратки,
И сила чародейного искусства
Едва ли больше помогла бы мне
Два семилетия враждуют чувства
И разум – и победа в этой схватке
Останется на лучшей стороне.

СИИ

Когда поднес, решившись на измену,
Главу Помпея Риму Птолемей,
Притворно Цезарь слезы лил над ней,
Так воплотило слово эту сцену.
И Ганнибал, когда он понял цену
Чужих побед, обманывал людей
Наигранной веселостью своей,
И смех его был страшен Карфагену.
Так чувства каждый человек таит,
Прибегнув к противоположной маске,
Приняв беспечный или мрачный вид.
Когда играют радужные краски
В моих стихах, то это говорит
О том, что чувства не хотят огласки.

СИИИ

Успеха Ганнибал, победе рад,
Не смог развить, на лаврах почивая,
Так пусть его ошибка роковая
Научит вас не опускать булат
Медведица, лишившись медвежат
При памятной пастьбе под небом мая,
Рычит, клыки и когти обнажая,
Что мезтью нам кровавою грозят.
Она не успокоится, поверьте,
Не погребет себя в своей берлоге,

Спешите же туда, куда зовет
Вас воинское счастье – по дороге,
Что на тысячелетья после смерти
Вам по заслугам славу принесет

CIV

Пандольфо, и в неопытные лета,
Когда еще не пробил славы час,
Кто близко видел вас хотя бы раз,
С надеждой ждали вашего расцвета.
И я, у сердца попросив совета,
Чтоб образ ваш вовеки не погас,
Спешу прославить на бумаге вас,
Не зная средства лучшего, чем это
Кто Цезарю бессмертный дал венец?
Кто Африканца, Павла и Марцелла
Увековечил? Кто? Какой творец?
Доныне слава их не отгремела,
Так пусть перу завидует резец,
Ведь только наших рук бессмертно дело.

CVII

От этих глаз давно бежать бы прочь
Бессмысленны надежды на пощаду,
На то, что прекратят они осаду,
Что сердцу можно чем-нибудь помочь.
Пятнадцатый уж год, как день и ночь
Они сияют внутреннему взгляду,
Слепя меня куда сильнее, чем смладу,
И мне сиянья их не превозмочь.
Повсюду предо мной горит упорно,
Куда ни гляну, этот свет слепящий
Или другой, зажженный этим, свет.
Единый лавр разросся пышной чащей,
Где заблудился я, бредя покорно
За недругом моим Амуром вслед.

CVIII

Благое место, где в один из дней
Любовь моя стопы остановила
И взор ко мне священный обратила,
Что воздуха прозрачного ясней
(Алмаз уступит времени скорей,
Чем позабуду я, как это было:
Поступок милый никакая сила
Стереть не сможет в памяти моей),

К тебе вернуться больше не сумею
Я без того, чтоб не склониться низко,
Ища следы – стопы прекрасной путь.
Когда Амуру благородство близко,
Сеннуччо, попроси при встрече с нею
Хоть раз вздохнуть или слезу смахнуть.

CIX

Предательскою страстью истомленный,
Я вновь спешу туда – в который раз!
Где я увидел свет любимых глаз,
За столько лет впервые благосклонный.
И в сладостные думы погруженный
О нем, который в думах не погас,
Я от всего иного тот же час
Освобождаюсь, умиротворенный.
Поутру, в полночь, вечером и днем
Я внемлю нежный голос в тишине,
Которого никто другой не внемлет,
И, словно дуновенье рая в нем,
Он утешение приносит мне
И сердце радость тихая объемлет.

CX

Опять я шел, куда мой бог-гонитель
Толкал, – куда приводит каждый день,
Дух в сталь замкнув, с оглядкой, – как воитель,
Засаду ждущий, скрытых стрел мишень.
Я озирал знакомую обитель.
Вдруг на земле нарисовалась тень
Ее, чей дух – земли случайный житель,
Чья родина – блаженных в небе сень.
"К чему твой страх?" – едва сказал в душе я,
Как луч двух солнц, под коим, пламенея,
Я в пепл истлел, сверкнул из милых глаз.
Как молнией и громовым ударом,
Был ослеплен и оглушен зараз
Тем светом я – и слов приветных даром.

CXI

Та, чьей улыбкой жизнь моя светла,
Предстала мне, сидящему в соборе
Влюбленных дум, с самим собой в раздоре,
И по склоненью бледного чела
Приветствию смиренному – прочла
Всю смуту чувств, и обняла все горе

Таким участием, что при этом взоре
Потухли б стрелы Зевсова орла.
Я трепетал; не мог идущей мимо
Я благосклонных выслушать речей
И глаз поднять не смел. Но все палима
Душа той новой нежностью очей!
И болью давней сердце не томимо,
И неги новой в нем поет ручей.

СХII

Сеннуччо, хочешь, я тебе открою,
Как я живу? Узнай же, старина:
Терзаюсь, как в былые времена,
Все тот же, полон ею лишь одною.
Здесь чуткою была, здесь ледяною,
Тут мягкой, тут надменною она;
То строгости, то благодати полна,
То кроткая, то грозная со мною.
Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла,
Здесь повернула, здесь остановилась,
Здесь привлекла прекрасным взором в плен;
Здесь оживленна, здесь невесела...
Все мысли с ней – ничто не изменилось,
Ничто не предвещает перемен.

СХIII

Итак, Сеннуччо, лишь наполовину
Твой друг с тобой (поверь, и я грущу).
Беглец ненастья, здесь забыть ищущу
И ветер, и кипящую пучину.
Итак, я здесь – и я тебе причину
С великою охотой сообщу
Того, что молний здесь не трепещу,
Ведь сердцем не остыл (и не остыну!).
Увидел я любезный уголок
И ожил: в этих родилась местах
Весна моя – смертельный враг ненастья.
Амур в душе огонь благой зажег
И погасил язвивший душу страх.
Лишь не хватает глаз ее для счастья.

СХIV

Безбожный Вавилон, откуда скрылось
Все: совесть, стыд, дел добрых благодать,
Столицу горя, прегрешений мать
Покинул я, чтоб жизнь моя продлилась.

Один я, как Амуру полюбилось,
Хожу то песни, то цветы собирать,
И с ним беседовать, и помышлять
О лучших днях: тут помощь мне и милость.
Мне до толпы, мне до судьбы нет дела,
Ни для себя, ни до потребы низкой,
И внутренний и внешний жар упал.
Зов – лишь к двоим: одна бы пожалела,
Ко мне пришла бы умиренной, близкой;
Другой бы, как защитник, твердо стал.

СХV

Чиста, как лучезарное светило,
Меж двух влюбленных Донна шла, и с ней
Был царь богов небесных и людей,
И справа я, а слева солнце было.
Но взор она веселый отвратила
Ко мне от ослепляющих лучей.
Тут не молчать – молить бы горячей,
Чтобы ко мне она благоволила!
Я ревновал, что рядом – Аполлон,
Но ревность мигом радостью сменилась,
Когда соперник мой был посрамлен.
Внезапно туча с неба опустилась,
И, побежденный, скрыл за тучей он
Лицо в слезах – и солнце закатилось

СХVI

Неизъяснимой негою томим
С минуты той, когда бы лучше было,
Чтоб смерть глаза мои навек смежила
И меньшей красоты не видеть им,
Расстался я с сокровищем моим,
Но лишь оно воображенью мило
И в памяти моей весь мир затмило,
Что было близко – сделало чужим.
В закрытую со всех сторон долину
Предел, где я не так несчастлив буду,
Вдвоем с Амуром возвратился я.
Среди пустынных этих скал – повсюду,
Куда я взор задумчивый ни кину,
Передо мною ты, любовь моя.

СХVII

Когда б скала, замкнувшая долину,
Откуда та прозвание получила,

По прихоти природы обратила
На Рим лицо, а к Вавилону спину,
Все вздохи бы надежду и причину
Свою настигли там, где жить ей мило,
Быстрее по склону. Врозь летят. Но сила
В любом верна – и милой я не мину.
А там к ним благосклонны, – так сужу я.
Ведь ни один назад не прилетает,
Им с нею пребыванье – наслаждение.
Вся боль от глаз: чуть только рассветает,
Так, по красе мест отнятых горюя,
Мне слезы шлют, ногам – изнеможение.

СХVIII

Вот и шестнадцатый свершился год,
Как я вздыхаю. Жить осталось мало,
Но кажется – и дня не миновало
С тех пор, как сердце мне печаль гнетет.
Мне вред на пользу, горечь – майский мед,
И я молю, чтоб жизнь возобладала
Над злой судьбою; но ужель сначала
Смежить Мадонне очи смерть придет!
Я нынче здесь, но прочь стремлюсь отсюда,
И рад, и не хочу сильней стремиться,
И снова я в плену былой тоски,
И слезы новые мои – не чудо,
Но знак, что я бессилен измениться,
Несметным переменам вопреки.

СХХ

Узнав из ваших полных скорби строк
О том, как чтили вы меня, беднягу,
Я положил перед собой бумагу,
Спеша заверить вас, что, если б мог,
Давно бы умер я, но дайте срок
И я безропотно в могилу лягу,
При том что к смерти отношусь как к благу
И видел в двух шагах ее чертог,
Но повернул обратно, озадачен
Тем, что при входе не сумел прочесть,
Какой же день, какой мне час назначен.
Премного вам признателен за честь,
Но выбор ваш, поверьте, неудачен:
Достойнее гораздо люди есть.

СХII

Семнадцать лет, вращаясь, небосвод
Следит, как я безумствую напрасно.
Но вот гляжу в себя – и сердцу ясно,
Что в пламени уже заметен лед.
Сменить привычку – говорит народ
Трудней, чем шерсть! И пусть я сердцем гасну,
Привязанность в нем крепнет ежечасно,
И мрачной тенью плоть меня гнетет.
Когда же, видя, как бегут года,
Измученный, я разорву кольцо
Огня и муки – вырвусь ли из ада?
Придет ли день, желанный мне всегда,
И нежным станет строгое лицо,
И дивный взор ответит мне как надо.

СХХІІІ

Внезапную ту бледность, что за миг
Цветущие ланиты в снег одела,
Я уловил, и грудь похолодела,
И встречная покрыла бледность лик.
Иных любовь не требует улик.
Так жителям блаженного предела
Не нужно слов. Мир слеп; но без раздела
Я в духе с ней – и в мысль ее проник.
Вид ангела в очарованье томном
Знак женственный любовного огня
Напомню ли сравнением нескромным?
Молчанием сказала, взор склоня
(Иль то мечта?), – намеком сердца темным:
"Мой верный друг покинет ли меня?"

СХХІV

Амур, судьба, ум, что презрел сурово
Все пред собой и смотрит в жизнь былую,
Столь тяжки мне, что зависть зачастую
Шлю всем, достигшим берега другого.
Амур мне сердце жжет; судьба готова
Предать его, – что мысль мою тупую
До слез гневит; вот так, живя, воюю,
Мученьям обречен опять и снова.
Мечта возврата нежных дней поблекла,
Худое к худшему прийти грозитя;
А путь, мной проходимый, – в половине.
Надежд (увы мне!) не алмазы – стекла
Роняет, вижу, слабая десница,
И нить мечтаний рвется посредине.

СXXX

Нет к милости путей. Глуха преграда.
И я унес отчаянье с собою
Прочь с глаз, где скрыта странною судьбою
Моей любви и верности награда.
Питаю сердце вздохами, и радо
Оно слезам, катящимся рекою.
И в этом облегчение такое,
Как будто ничего ему не надо.
И все же я прикован всем вниманьем
К лицу, что создал ни Зевксис, ни Фидий,
Но мастер с высочайшим дарованьем.
Где в Скифии, в которой из Нумидий
Укроюсь, коль, не сыт моим изгнаньем,
Рок отыскал меня, предав обиде!

СXXXI

О, если бы так сладостно и ново
Воспеть любовь, чтоб, дивных чувств полна,
Вздыхала и печалилась она
В раскаянии сердца ледяного.
Чтоб влажный взор она не так сурово
Ко мне склоняла, горестно бледна,
Поняв, какая тяжкая вина
Быть равнодушной к жалобам другого.
Чтоб ветерок, касаясь на бегу
Пунцовых роз, пылающих в снегу,
Слоновой кости обнажал сверканье,
Чтобы на всем покоился мой взгляд,
Чем краткий век мой счастлив и богат,
Чем старости мне скрашено дыханье.

СXXXII

Коль не любовь сей жар, какой недуг
Меня знобит? Коль он – любовь, то что же
Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..
Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..
На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
Коль им пленен, напрасны стоны. То же,
Что в жизни смерть, – любовь. На боль похоже
Блаженство. "Страсть", "страданье" – тот же звук.
Призвал ли я иль принял поневоле
Чужую власть?.. Блуждает разум мой.
Я – утлый челн в стихийном произволе.
И кормщика над праздной нет кормой.
Чего хочу – с самим собой в расколе,
Не знаю. В зной – дрожу; горю – зимой.

CXXXIII

Я выставлен Амуром для обстрела,
Как солнцу – снег, как ветру – мгла тумана,
Как воск – огню. Взывая постоянно
К вам, Донна, я охрип. А вам нет дела.
Из ваших глаз внезапно излетела
Смертельная стрела, и непрестанно
От вас исходят – это вам лишь странно
Вихрь, солнце и огонь, терзая тело.
От мыслей-стрел не спрятаться. Вы сами
Как солнце, Донна, а огонь – желанье.
Все это колет, ослепляет, глушит.
И ангельское пенье со словами
Столь сладкими, что в них одно страданье,
Как дуновенье, жизнь во мне потушит.

CXXXIV

Мне мира нет, – и брани не поднимаю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет
И падаю, низверженный, на землю.
Сжимая мир в объятьях, – сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду – убьет;
Но медлит он, – и вновь надежде внемлю.
Я зряч – без глаз; без языка – кричу.
Зову конец – и вновь молю: "Пощада!"
Клянусь себя – и все же дни влачу.
Мой плач – мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих – хочу...
И вот за пыл сердечный мой награда!

CXXXVI

Что ж, в том же духе продолжай, покуда
Небесного огня не навлекла!
Ты бедностью былой пренебрегла,
Ты богатеешь – а другому худо.
Вся мерзость на земле идет отсюда,
Весь мир опутан щупальцами зла,
Ты ставишь роскошь во главу угла,
Презренная раба вина и блуда.
Здесь старики и девы Сатане
Обязаны, резвясь, игривым ладом,
Огнем и зеркалами на Стене.
А ведь тебя секло дождем и градом,

Раздетую, босую на стерне.
Теперь ты Бога оскорбляешь смрадом.

СXXXVII

В мех скряга Вавилон так вбил громаду
Зол, мерзких преступлений и порока,
Что лопнул он; богов стал чтить высоко:
Венеру с Вакхом, Зевса и Палладу.
Жду правых дел, – нет сил, нет с мукой сладу:
Вот нового султана видит око,
Придет и оснует (дождусь ли срока?)
Един престол и даст его Багдаду.
Кумиров здесь осколки в прах сметутся,
Чертогов тех, что небесам грозили,
Вельможи алчные огнем пожрутся.
А души те, что с доблестью дружили,
Наследят мир; тогда узрим – вернуться
Век золотой, деяний древних были.

СXXXVIII

Исток страданий, ярости притон,
Храм ересей, начетчик кривосудам,
Плач, вопль и стон вздымаешь гулом, гудом,
Весь – ложь и зло; был Рим, стал Вавилон.
Тюрьма, обманов кузня, где закон:
Плодясь, зло пухнет, мрет добро под спудом,
Ад для живых; великим будет чудом,
Христом самим коль будешь пощажен.
Построен в чистой бедности убогой,
Рог на своих строителей вздымаешь
Бесстыдной девкой; в чем же твой расчет?
Или в разврате? Или в силе многой
Богатств приبلудных? Константина ль чаешь?
Тебя спасет бедняк – его народ.

СXXXIX

Когда желанье расправляет крылья,
Которым к вам я, о друзья, влеком,
Отвлечь Фортуна рада пустяком
И делает напрасными усилья.
Но сердце, хоть от вас за много миль я,
Летит туда, где море языком
Вдается в дол, где солнечно кругом.
Я слез моих не удержал обилья.
Позавчера опять расставшись с ним:
Оно – свободно, я же – под конвоем,

В Египет – я, оно – в Ерусалим.
И расставанье тяжело обоям:
Давно мы убедились, что двоим
Нам наслаждаться не дано покоем.

CXL

Амур, что правит мыслями и снами
И в сердце пребывает, как в столице,
Готов и на чело мое пробиться,
И стать во всеоружье над бровями.
Но та, что буйно вспыхнувшее пламя
Терпеньем и стыдом унять стремится,
Чей разум – неприступная граница,
За нашу дерзость недовольна нами.
И вот Амур показывает спину,
Надежду потеряв, бежит, горюя,
Чтоб затвориться в оболочке тесной.
И я ли повелителя покину?
И час последний с ним не разделю я?
Ах, умереть, любя, – конец чудесный!

CXLI

Как в чей-то глаз, прервав игривый лёт,
На блеск влетает бабочка шальная
И падает, уже полуживая,
А человек сердито веки трет,
Так взор прекрасный в плен меня берет,
И в нем такая нежность роковая,
Что, разум и рассудок забывая,
Их слушаться Любовь перестает.
Я знаю сам, что презираем ею,
Что буду солнцем этих глаз убит,
Но с давней болью сладить не умею.
Так сладостно Любовь меня слепит,
Что о чужих обидах сожалею,
Но сам же в смерть бегу от всех обид.

CXLIII

Призыв Амура верно вами понят,
И, слушая любви волшебный глас,
Я так пылаю страстью каждый раз,
Что пламень мой любую душу тронет.
Я чувствую – в блаженстве сердце тонет,
Я снова оторвать не в силах глаз
От госпожи, что так добра сейчас,
И страшно мне, что грезу вздох прогонит.

Сбывается, сбылась моя мечта,
Смотрю – движенье кудри разметало,
Любимая навстречу мне спешит.
Но что со мной? Восторг сковал уста,
Я столько ждал – и вот стою устало,
Своим молчанием перед ней убит.

CXLIV

И солнце при безоблачной погоде
Не так прекрасно (я к нему привык!),
И радуга, другая что ни миг,
Не так светла на чистом небосводе,
Как в день, что положил предел свободе,
Был светел и прекрасен милый лик,
Перед которым беден мой язык,
Не зная слов достойных в обиходе.
Внушал любовь ее прелестный взор,
И я, Сеннуччо мой, с тех самых пор
Яснее на земле не видел взгляда.
Она сжимала грозный лук в руке
И жизнь моя с тех пор на волоске
И этот день вернуть была бы рада.

CXLV

И там, где никогда не тает снег,
И там, где жухнет лист, едва родится,
И там, где солнечная колесница
Свой начинает и кончает бег;
И в благоденстве, и не зная нег,
Прозрачен воздух, иль туман клубится,
И долог день или недолго длится,
Сегодня, завтра, навсегда, навек;
И в небесах, и в дьявольской пучине,
Бесплотный дух или во плоть одет,
И на вершинах горных, и в трясине;
И все равно, во славе или нет,
Останусь прежний, тот же, что и ныне,
Вздыхая вот уже пятнадцать лет.

CXLVI

О чистая душа, пред кем в долгу
Хвалебное мое перо не даром!
О крепость чести, стойкая к ударам,
Вершина, недоступная врагу!
О пламя глаз, о розы на снегу,
Что, согревая, очищают жаром!

О счастье быть подвластным этим чарам,
Каких представить краше не могу!
Будь я понятен с песнями моими
В такой дали, о вас бы Фула знала,
Бактр, Кальпа, Танаис, Олимп, Атлас.
Но так как одного желанья мало,
Услышит край прекрасный ваше имя:
От Альп до моря я прослаблю вас.

CXLVII

Я Стростью взнуздан, но жестокость шпоры
И жесткие стальные удила
Она порой ослабит, сколь ни зла,
И только в этом все ее потворы;
И к той приводит, чтобы въявь укоры
И муки на челе моем прочла,
Чтобы Любовь ответные зажгла
Смятенные и грозовые взоры.
Тогда, как будто взвидев гнев Зевеса,
Страсть-помыкательница прочь отпрянет,
Всесильной свойствен равносильный страх!
Но столь тонка души моей завеса,
Что упованья робость зрима станет
И снисхожденье сыщет в тех очах.

CXLVIII

Тибр, Герм, По, Адидж, Вар, Алфей, Гаронна,
Хебр, Тезин, Истр и тот, что Понт разбил,
Инд, Эра, Тигр, Евфрат, Ганг, Альба, Нил,
Ибр, Арно, Танаис, Рейн, Сена, Рона;
Плющ, можжевельник, ель и ветки клена
Палящий сердце не угасят пыл;
Лишь Дафны лист и берег, что судил
Сквозь слезы петь, – одна мне оборона.
В мучительном и пламенном бою
С Любовью – только в них исток отваги,
Хоть время понукает жизнь мою.
Расти ж, мой Лавр, над плеском тихой влаги.
Садовник твой, сокрытый в тень твою,
В лад шуму вод поверит мысль бумаге.

CL

– Душа, что деешь, мыслишь? Будет с нами
Покой и мир иль вечной жить борьбою?
– Что ждет – темно; сужу сама с собою:
Взор дивный скорбен нашими бедами.

– Что в том, раз ей дано творить очами
Средь лета лед и пыл огня зимою?
– Не ей, – тому, кто правит ей самою.
– Пусть! Но все видеть и молчать годами!
– Порой язык молчит, а сердце стонет
Пронзительно; лицо светло и сухо,
Не виден плач стороннему вниманью. ~
– Ум все же не спокоен, ропщет глухо,
Но боли – острой, стойкой – не прогонит;
Несчастный недоверчив к упованью.

СЛИ

Так не бежит от бури мореход,
Как, движимый высоких чувств обетом,
От мук спасенье видя только в этом,
Спешу я к той, чей взор мне сердце жжет.
И смертного с божественных высот
Ничто таким не ослепляет светом,
Как та, в ком черный смешан с белым цветом,
В чьем сердце стрелы золотит Эрот.
Стыжусь глядеть: то мальчик обнаженный.
И он не слеп – стрелок вооруженный,
Не нарисован – жив он и крылат.
Открыл он то мне, что от всех таилось,
И все, что о любви мной говорилось,
Мне рассказал моей Мадонны взгляд.

СЛИ

О смирный зверь с тигриною повадкой,
О ангел в человеческой личине,
Страшась, надеясь, в радости, в кручине
Я скручен так, что и живу украдкой!
Отпустишь ли, удавишь мертвой хваткой,
Пожить ли дашь в когтях своей дичине,
Всё к одному – обречены кончине,
Кого Любовь поит отравой сладкой.
И не под силу обомлевшей силе,
Страдая, выстрадать двоякость эту
Остуду льда и пламена в горниле.
И хочет сжить она себя со свету,
Как та, которой и следы простыли;
Но нету сил. И смерти тоже нету.

СЛИ

Горячий вздох, ступай к твердыне-сердцу,
Пусть ото льда оттает Состраданье;

Лети, небес достигь, мое рыданье
Пусть смерть иль милость явят страстотерпцу.
Мысль пылкая, ступай и одноверцу
Несведущему дай мое познание.
О, если страсть не помутит сознание,
Мы от надежд найдем к спасенью дверцу.
Ты помоги мне, мйгслц чтоб молвить можно,
Что наше бытованье – бесприютно.
Ее же – и светло и бестревожно.
Ты поспешай любви моей сопутно,
И мы несчастья убежим, возможно,
Коль светоч мой мне знак подаст несмутно.

CLIV

Сонм светлых звезд и всякое начало
Вселенского состава, соревнуя
В художестве и в силе торжествуя,
Творили в ней Души своей зеркало.
И новое нам солнце возблистало,
И каждый взор потупился, предчуя,
Что бог любви явил ее, ликуя,
Чтоб изощрить на дерзком злое жало.
Пронизанный очей ее лучами,
Течет эфир пылающей купиной,
И может в нем дышать лишь добродетель.
Но низкое желание мечами
Эдемскими гонимо. Мир свидетель,
Что красота и чистота – едино.

CLV

Юпитер разъяренно, Цезарь властно
Разили ненавистные мишени;
Но вот Мольба упала на колени,
И злость владык ее слезам подвластна.
Мадонна плакала, меж тем пристрастно
Властитель мой явил мне эти пени:
И скорбь и страсть, не знающие лени,
Меня сразили гневно и злосчастно.
Любовь рисует плачущего чуда
Виденье мне, иль тихими речами
Изгравирует сердце, – вот причуда!
Как адамант, иль с хитрыми ключами
К нему подступит, дабы из-под спуда
Возник тот плач, и я рыдал ночами.

CLVI

Я лицезрел небесную печаль,
Грусть: ангела в единственном явлении.
То сон ли был? Но ангела мне жаль.
Иль облак чар? Но сладко умиление.
Затмили слезы двух светил хрусталь,
Светлейший солнца. Кротких уст моление,
Что вал сковать могло б и сдвинуть даль,
Изнемогло, истаяло в томление.
Все – добродетель, мудрость, нежность, боль
В единую гармонию сомкнулось,
Какой земля не слышала дотоль.
И ближе небо, внемя ей, нагнулось;
И воздух был разнежен ею столь,
Что ни листка в ветвях не шелохнулось.

CLVII

Тот жгучий день, в душе отпечатленный,
Сном явственным он сердцу предстоит.
Чье мастерство его изобразит?
Но мысль лелеет образ незабвенный.
Невинностью и прелестью смиренной
Пленителен красы унылой вид.
Богиня ль то, как смертная, скорбит?
Иль светит в скорби свет богоявленный?
Власы – как золото; брови – как эбен;
Чело – как снег. В звездах очей угрозы
Стрелка, чьим жалом тронутый – блажен.
Уст нежных жемчуг и живые розы
Умильных, горьких жалоб сладкий плен...
Как пламя – вздохи; как алмазы – слезы.

CLVIII

Куда ни брошу безутешный взгляд,
Передо мной художник вездесущий,
Прекрасной дамы образ создающий,
Дабы любовь моя не шла на спад.
Ее черты как будто говорят
О скорби, сердце чистое гнетущей,
И вздох, из глубины души идущий,
И речь живая явственно звучат.
Амур и правда подтвердят со мною,
Что только может быть один ответ
На то, кто всех прекрасней под луною
Что голоса нежнее в мире нет,
Что чище слез, заставших пеленою
Столь дивный взор, еще не видел свет

CLIX

Ее творя, какой прообраз вечный
Природа-Мать взяла за образец
В раю Идей? – чтоб знал земли жилец
Премудрой власть и за стезею Млечной.
Ее волосы – не Нимфы ль быстротечной
Сеть струйная из золотых колец?
Чистейшее в ней бьется из сердец
И гибну я от той красы сердечной.
В очах богинь игру святых лучей
Постигнет ли мечтательной догадкой
Не видевший живых ее очей?
Целит любовь иль ранит нас украдкой,
Изведал тот, кто сладкий, как ручей,
Знал смех ее, и вздох, и говор сладкий.

CLX

Амур и я – мы оба каждый раз,
Как человек, перед которым диво,
Глядим на ту, что, как никто, красива
И звуком речи восхищает нас.
Сиянью звезд сродни сиянье глаз,
И для меня надежней нет призыва:
Тому, в чьем сердце благородство живо,
Случайные светила не указ.
Как хороша, без преувеличений,
Когда сидит на мураве она,
Цветок средь разноцветья лугового!
Как светел мир, когда порой весенней
Она идет, задумчива, одна,
Плетя венок для золота витого!

CLXI

О шаг бесцельный, о расчет заочный,
О маета, о гордое пыланье,
О сердца дрожь, о властное желанье,
О вы, глаза – источник слезоточный;
О ты, листва, – венчатель правомочный,
Единое двум доблестям признанье;
О сладкий плен, о тяжелое призванье,
Меня вовлекшие в сей круг порочный;
О дивный лик! Не пылких благодушии
Амурова стезя, но слез и страха:
Строптивца там заездят, больно шпора.
О чистые и любящие души,
Вы – сущие, и вы – добыча праха,
Воззритесь же на эту бездну горя!

CLXII

Блаженные и радостные травы
Ложатся под стопы моей Мадонны,
Прельстительным речам внимают склоны,
Оберегая след благой поправки.
Фиалочки и бледные купавы,
Пускай незрелый лист зеленой кроны
Живому солнцу не чинит препоны,
Ласкающему вас лучами славы.
Округа нежная, река живая,
Лелейте дивный лик и эти очи,
Живого солнца пылкий блеск впивая;
Сколь мысли с вами сладиться охочи!
Отныне и скала окрест любая
Всплывает мне подобно, что есть мочи!

CLXIII

Амур, любовь несчастного пытая,
Ты пагубным ведешь меня путем;
Услышь мольбу в отчаянье моем,
Как ни один другой в душе читая.
Я мучился, сомненья отменяя:
С вершины на вершину день за днем
Ты влек меня, не думая о том,
Что не под силу мне стезя крутая.
Я вижу вдалеке манящий свет
И никогда не поверну обратно,
Хотя устал. Беда, что крыльев нет!
Я сердцем чист – и был бы рад стократно
Влачиться за тобой, крылатым, вслед,
Когда бы знал, что это ей приятно.

CLXIV

Земля и небо – в безмятежном сне,
И зверь затих, и отдыхает птица,
И звездная свершает колесница
Объезд ночных владений в вышине,
А я – в слезах, в раздумиях, в огне,
От мук моих бессильный отрешиться,
Единственный, кому сейчас не спится,
Но образ милый – утешенье мне.
Так повелось, что, утоляя жажду,
Из одного источника живого
Нектар с отравой вперемешку пью,
И чтобы впредь страдать, как ныне стражду,

Сто раз убитый в день, рождаюсь снова,
Не видя той, что боль уймет мою.

CLXV

Она ступает мягко на траву
И дружно лепестки цветов душистых,
Лиловых, желтых, алых, серебристых,
Спешат раскрыться, как по волшебству.
Амур, в своем стремленье к торжеству
Берущий в плен не всех, – лишь сердцем чистых,
Струит блаженство из очей лучистых
И я иной услады не зову.
Походке, взору Должное воздав,
Скажу: нельзя и речью не плениться;
Четвертым назову смиренный нрав.
Из этих искр – и из других – родится
Огонь, которым я охвачен, став
Как при дневных лучах ночная птица.

CLXVI

Быть верным бы пещере Аполлона,
Где он пророком стал, – как знать? – для света
Флоренция бы обрела поэта,
Как Мантуя, Арунка и Верона.
Но как не мечет из сухого лона
Моя скала струи, так мне планета
Иная: терн, репей велит мне эта
Кривым серпом жать с каменного склона.
Олива сохнет. Для русла иного
С Парнаса ток течет, а им когда-то
Она жила, ему цвела богато.
Злой рок таков иль за вину расплата
Бесплодье, коль Юпитерово слово
Мне в милость не пошлет дождя благого.

CLXVII

Когда она, глаза полузакрыв,
В единый вздох соединит дыханье
И запоем, небесное звучанье
Придав словам, божественный мотив,
Я слушаю – и новых чувств прилив
Во мне рождает умереть желанье,
И я реку себе: "Когда прощанье
Столь сладко с жизнью, почему я жив?"
Но полные блаженства неземного
Боятся чувства время торопить,

Чтоб не лишиться сладостного плена.
Так дни мои укоротит – и снова
Отмеренную удлиняет нить
Небесная среди Людей сирена.

CLXVIII

Амур приносит радостную весть,
Тревожа сердце мысленным посланьем,
Что скоро сбыться суждено желаньям,
Когда смогу я счастье обрести.
В сомнениях – обманом это счастье
Иль радоваться новым обещаньям,
И верю и не верю предвещавьям:
Ложь? правда ли? – чего в них больше есть?
Тем временем бессильно скрыть зеркало,
Что близится пора – заклятый враг
Его посулам, и моей надежде.
Любовь жива, но юность миновала
Не только для меня, – печальный знак,
Что счастье много прозрачней, чем прежде

CLXIX

Лелея мысль, что гонит одиноко
Меня бродить по свету, я грущу
О той, кого мучительно ищу,
Чтобы, увидя, каяться глубоко.
И вот опять она чарует око.
Но как себя от вздохов защищу?
Та, перед кем душою трепещу,
Амуру недруг и со мной жестока.
И все же, если не ошибся я,
То проблеском живого состраданья
Согрет ее холодный, хмурый взгляд.
И тает робость вечная моя,
И я почти решаюсь на признанья,
Но вновь уста предательски молчат.

CLXX

Перед чертами добрыми в долгу,
Я верил столько раз, что я сумею
Смиреньем, речью трепетной моею
Дать бой однажды моему врагу.
Надеялся, что страх превозмогу,
Но всем благим и злым, что я имею,
И светом дней, и смертью связан с нею,
Увижу взор ее – и не могу.

Я говорил, но только мне понятен
Был мой бессвязный лепет – ведь недаром
Амур в него превратил меня;
Язык любви пламенной невнятен,
И тот, кто скажет, как пылает жаром,
Не знает настоящего огня

CLXXI

В прекрасные убийственные руки
Амур толкнул меня, и навсегда
Мне лучше бы умолкнуть – ведь когда
Я жалуюсь, он умножает муки.
Она могла бы – просто так, от скуки
Поджечь глазами Рейн под толщей льда,
Столь, кажется, красой своей горда,
Что горьки ей чужого счастья звуки.
Что я ни делай, сколько ни хитри,
Алмаз – не сердце у нее внутри,
И мне едва ли что-нибудь поможет.
Но и она, сколь грозно ни гляди,
Надежды не убьет в моей груди,
Предела нежным вздохам не положит.

CLXXII

О Зависть, о коварное начало,
Как ты вошла, какой нашла ты путь
В прекрасную доверчивую грудь?
Как ловко ты в нее вонзила жало!
Ты чересчур счастливым показала
Меня любимой, и, тебя не будь,
Расположенье мог бы я вернуть
Той, что вчера мольбы не отвергала.
Пусть плачущего ей отраден вид,
Пускай она, когда я счастлив, плачет,
Она любви моей не охладит.
Пускай она намеренья не прячет
Убить меня, Амур мне говорит,
Что это ничего еще не значит.

CLXXIII

На солнца чудотворных глаз взираю,
Где тот, кем жив и кем слеза точится;
Душа от сердца ищет отлепиться,
Дабы припасть к сему земному раю;
Но сладсть и желчь тому присущи краю,
И нить судьбы там паутинкой мнится;

Амуру жалуясь, душа казнится
Узды крутой избегнуть, мол, не чаю.
Так в крайностях плутая изначально,
Вся – мертвый лед и жаркое пыланье,
Живет она, то изменна, то горня.
Воспряв на миг, сто раз вздохнет печально,
Но чаще – пребывает в покаянье:
Таков был плод от такового корня.

CLXXIV

Жестокая звезда – недобрый знак
Отражена была в моей купели,
В жестокой я качался колыбели,
В жестоком мире сделал первый шаг,
И рок жестокой даме лук напруг
И взор ее обрадовался цели,
И я взывал к тебе: "Амур, ужели
Не станет другом мне прекрасный враг?"
Ты рад моим терзаниям всечасным,
Тогда как ей моя печаль не в радость,
Затем что рана не смертельно зла.
Но лучше быть из-за нее несчастным,
Чем предпочесть других объятий сладость,
Порукою тому – твоя стрела.

CLXXV

Лишь вспомню миг сей или сень предела.
Где мне Амур хитро измыслил узы,
Где стал рабом я дорогой обузы,
Где горя сласть всей жизнью завладела,
Я – снова трут, и, словно встарь, зардела
Былая страсть, с кем не разъять союзы,
И вспыхнул огонь, и полегчали грузы
Тем и живу. До прочего нет дела.
Но светит теплоносными лучами
Мне явленное солнце ежедневно,
На склоне дней, как поутру, сияя.
Оно одно и есть перед очами,
По-прежнему светло и сокровенно
Благую сень и миг благой являя.

CLXXVI

Глухой тропой, дубравой непробудной,
Опасною и путникам в броне,
Иду, пою, беспечный, как во сне,
О ней, чей взор, один, как проблеск чудный

Двух солнц, – страшит желанье. Безрассудный
Блуждает ум – и нет разлуки мне.
Я с ней! Вот сонм ее подруг: оне
За ясеней завесой изумрудной.
Чей голос – чу! – звучит, слиян с листвою
Лепечущей, сквозь шум вершин зыбучий,
И птичий хор, и говор ключевой?..
Милей дотоль мне не был лес дремучий,
Когда б лишь солнц моих игры живой
Не застилал от глаз зеленой тучей!

CLXXVII

Являл за переправой переправу
Мне в этот долгий день среди Арденн
Амур, что, окрыляя взятых в плен,
Влечет сердца в небесную державу.
Где Марс готовит путнику расправу,
Я без оружия ехал, дерзновен,
И помыслы не знали перемен,
Одной на свете отданы по праву.
И памятью об уходящем дне
В груди тревога поздняя рождается,
Однако риск оправдан был вполне:
Места, где милая река струится,
Покоем сердце наполняют мне,
Зовущее меня поторопиться

CLXXVIII

Мне шпоры даст – и тут же повод тянет
Любовь, неся и отнимая свет,
Зовет и, прочь гоня, смеется вслед,
То обнадежит, то опять обманет;
То сердце вознесет, то в бездну грянет,
И страсть в отчаянье теряет след:
Что радовало, в том отрады нет,
И разум дума странная туманит.
Благая мысль ему открыла путь
Не по волнам, бегущим из очей,
Путь к счастью, но другая прекословит,
И разум, принужденный повернуть
Навстречу смерти медленной своей,
Один удел себе и мне готовит.

CLXXIX

Да, Джери, и ко мне жесток подчас
Мой милый враг – и для меня бесспорна

Смертельная угроза, и упорно
В одном ищущем спасенье каждый раз:
Она ко мне не обращает глаз,
А выражение моих – покорно,
И действует смиренье благотворно
И нет стены, что разделяла нас.
Иначе бы она в моем уделе
Медузою безжалостной была,
Перед которой люди каменели
Один лишь выход нам судьба дала,
Поверь, бежать бессмысленно: тебе ли
Не знать, что у Амура есть крыла!

CLXXX

Ты можешь, По, подняв на гребне вала,
Швырнуть мою кору в водоворот,
Но душу, что незримо в ней живет,
И не такая сила не пугала.
Лавировать в полете не пристало
Золотолистный лавр ее влечет
И крылья быстры, и ее полет
Сильней руля и весел, волн и шквала.
Державная, надменная река,
Ты, лучшее из солнц оставя сзади,
К другому удержишь путь издалека.
Уносишь плоть, но ты же и внакладе:
Душа стремится, взмыв под облака,
Назад – в любимый край, к своей отраде

CLXXXI

Амур меж трав тончайшие тенета
Из злата с жемчугами сплел под кроной,
Боготворимой мною и зеленой,
Хоть сень ее – печальная щедрота.
Рассыпал зерен – хитрая забота!
Страшусь и жажду я приманки оной;
С начал земли, Предвечным сотворенной,
Нежней манка не слышала охота.
А свет, с кем солнцу проигрышны встречи,
Слепил. Шнурок шел от сетей к запястью
Пречистому, как снежное сиянье.
Так завлекли меня заманной властью
И мановенья дивные, и речи,
И нежность, и надежда, и желанье.

CLXXXII

Сердца влюбленных с беспощадной силой
Тревога леденит, сжигает страсть,
Тут не поймешь, чья пагубнее власть
Надежды, страха, стужи или пыла.
Иных, бросает в жар под высью стылой,
Дрожь пробирает в зной, что за напасть!
Ведь жаждущему просто в ревность впасть
И дев считать вздыхателями милой.
Я ж обречен лишь от огня страдать
И лишь от жажды гибну ежечасно,
Слова бессильны муку передать.
О, что мне ревность! Пламя так прекрасно!
Пусть видят в нем другие благодать,
Им не тпетчть к псгчини-с – Все напрасно.
Но если поражен я нежным оком,
Но если ранят сладкие слова,
Но если ей любовь дала права
Дарить мне свет улыбки ненароком,
Что ждет меня, когда, казнимый роком,
Лишусь я снисхожденья божества,
В чьем взоре милость теплится едва?
Неужто смерть приму в огне жестоком?
Чуть омрачен моей любимой лик,
Весь трепещу, и сердце холодеет,
Страшусь примеров давних каждый миг,
И этих страхов разум не развеет.
Я женскую изменчивость постиг:
Любовь недолго женщиной владеет.

CLXXXIV

Амур, природа, вкупе со смиренной
Душой, чья добродетель правит мной,
Вступили в сговор за моей спиной:
Амур грозит мне мукой неизменной,
В сетях природы, в оболочке брэнной,
Столь нежной, чтобы справиться с судьбой,
Душа любимой, прах стряхнув земной,
Уже от жизни отреклась презренной.
Готовится душа отринуть плоть,
Чьи очертанья были так прекрасны,
Являя средоточье красоты.
Нет, милосердью смерть не побороть.
И если так – надежды все напрасны
И безнадежны все мои мечты.

CLXXXV

Вот птица Феникс в перьях из огня,
И этих ожерелий позолота

На белой шее – силой приворота
Нарует всех, мой бедный дух казня.
Лучи ее венца как светоч дня,
Амур в стекло их ловит, как в тенета,
Сочится пламя струйкой водомета
И даже в лютый холод жжет меня.
Окутал пурпур царственные плечи,
С лазурной оторочкою убор,
Усыпанный пунцовыми цветами.
Уносит слава далеко-далече,
К богатым недрам аравийских гор
Сокровище, парящее над нами.

CLXXXVI

Когда б Гомер великий и Вергилий
Узрели ту, что ярче всех светил,
Ее воспели б, не жалея сил,
В единый стиль свои сливая стили,
Энея бы хвалою обделили,
Померк бы Одиссей и сам Ахилл,
И тот, кто пятьдесят шесть лет царил,
И тот, кого в Микенах погубили.
Сей доблести и древней мощи цвет
Теперь обрел еще одно светило,
Где чистота в единстве с красотой.
Блеск древней славы Эннием воспет,
А я – о новой. Только б не претила
Ей похвала моя, мой дар простой.

CLXXXVII

Пред ним Ахилла гордого гробница
И Македонец закусил губу:
"Блажен, чья слава и поныне длится,
Найдя такую звонкую трубу!"
А чистое созданье, голубица,
Кому слагаю песни в похвальбу,
Моим искусством жалким тяготится,
Что сделаешь! Не изменить судьбу!
И вдохновить Гомера и Орфея
Достойной, той, кого бы мог по праву
Петь горячо из Мантуи пастух,
Рок дал другого, кто, пред ней немея,
Дерзает петь о лавре, ей во славу,
Но, кажется, его подводит слух.

CLXXXVIII

О солнце, ты и в стужу светишь нам,
Тебе была любезна эта крона
С листвой, зеленой, как во время оно,
Когда впервые встретил зло Адам.
Взгляни сюда. Склонись к моим мольбам,
Не уходи, светило, с небосклона,
Продли свое сиянье благосклонно,
Желанный вид являй моим глазам:
Я вижу холм и тень его косую,
На тихий мой огонь она легла,
На пышный лавр, он был тростинкой малой.
Но тень растет, покуда я толкую,
Заветный дол уже заволокла,
Где госпожа живет в душе усталой.

CLXXXIX

Забвенья груз влача в промозглый мрак,
Ладья моя блуждает в океане
Меж Сциллой и Харибдой, как в капкане,
А кормчий – господин мой, нет! мой враг
На веслах – думы. Сладить с ними как?
Бунтуют, позабыв об урагане.
Извечный вихрь страстей и упований
Ветрила рвет в пылу своих атак.
Под ливнем слезай" мгле мБей досады
Сплетенная из неразумья снасть
Вся вымокла: канаты как мочала.
Два огонька погасли, две отрады,
Уменье гибнет, разуму пропасть.
Боюсь: не дотянч м. мне ю причала.
Лань белая на зелени лугов,
В час утренний, порою года новой,
Промеж двух рек, под сению лавровой,
Несла, гордясь, убор златых рогов.
Я все забыл и не стремить шагов
Не мог (скупец, на все труды готовый,
Чтоб клад добыть!) – за ней, пышноголовой
Скиталицей волшебных берегов.
Сверкала вязь алмазных слов на вые:
"Я Кесарем в луга заповедные
Отпущена. Не тронь меня! Не рань!.."
Полдневная встречала Феба грань;
Но не был сыт мой взор, когда в речные
Затоны я упал – и скрылась лань.

CXCI

Свет вечной жизни – лицезренье Бога,
Не пожелаешь никаких прикрас,

Так счастлив я, Мадонна, видя вас,
При том, что жизнь – лишь краткая дорога.
Как никогда, прекрасны вы, коль строго,
Коль беспристрастно судит этот глаз.
Как сладок моего блаженства час,
В сравненье с коим и мечта убога.
Он пролетит – и это не беда.
Чего желать? Кого-то кормят звуки,
Кого – растений сладкий аромат,
Кого живит огонь, кого – вода,
А мне от них ни радости, ни муки,
Мне образ ваш дороже всех услад.

СХСII

Амур, вот светоч славы яснолицей,
Той, что царит над естеством земным.
В нее струится небо, а засим
Она сама дарует свет сторицей.
Взгляни, какой одета багрянницей,
Каким узором блещет золотым,
Стопы и взор направля к тем крутым
Холмам, поросшим частой медуницей.
И зелень трав, и пестрые цветы
Под сенью темной падуба густого
Стопам прекрасным стелят свой ковер,
И даже ночь сияет с высоты
И вспыхнуть всеми искрами готова,
Чтоб отразить сей лучезарный взор.

СХСIII

Вкушает пищу разум мой такую,
Что и нектар меня бы не привлек,
Река забвенья в душу льет поток,
Лишь лицезренья красоты взыскую.
Слова моей возлюбленной смакую,
Записываю в сердце чернью строк,
Для воздыханий нахожу предлог,
При этом сладость чувствую двойную:
Так эта речь волшебная нежна,
Звучит подобьем райских песнопений,
О, этот голос – чудо из чудес!
В пространстве малом явлено сполна,
Сколь всемогущи мастерство и гений
Природы животворной и небес.

СХСIV

Любимого дыханья благодать
Живит пригорки, рощи и поляны,
Зефир знакомый, нежный, мой желанный,
Возвыситься велит мне и страдать.
Спешу сюда, чтоб сердцу отдых дать.
Скорее! Прочь от воздуха Тосканы!
Тоска гнетет, как серые туманы,
Но мне уже недолго солнца ждать.
Оно мое, в нем сладость в изобилье,
Мне без него на свете жизни нет,
Но слепну я, приблизившись вплотную.
Укрытья не найти, мне б только крылья,
Погибелью грозит мне яркий свет:
Вблизи него горю, вдали – горюю.

СХСV

Года идут. Я все бледнее цветом,
Все больше похожу на старика,
Но так же к листьям тянется рука,
Что и зимою зелены и летом.
Скорее в небе не гореть планетам,
Чем станет мне сердечная тоска
Не столь невыносима и сладка,
Не столь желанна и страшна при этом.
Не кончится мучений полоса,
Пока мой прах могила не изложет
Иль недруг мой ко мне не снизойдет.
Скорей во все поверю чудеса,
Чем кто-то, кроме смерти, мне поможет
Или виновницы моих невзгод.

СХСVІ

В листве зеленой шелестит весна,
Но как ее дыханье жалит щеки,
Напомнив мне удар судьбы жестокий:
Ее мученья я испил до дна.
Прекрасный лик явила мне она,
Теперь такой чужой, такой далекий,
Сияли золотых волос потоки,
Нить жемчугов теперь в них вплетена.
О, как ложились эти пряди мило,
Распущенные – как они текли!
Воспоминанье до сих пор тревожит.
В жгуты тугие время их скрутило,
Не избежало сердце той петли,
Которую лишь смерть ослабить может.

СХСVII

Дохнул в лицо прохладой лавр прекрасный:
Здесь рану Фебу бог любви нанес.
Я сам. в его ярме, влеку свой воз.
Освободиться поздно – труд напрасный.
Как некий старый мавр – Атлант несчастный,
Тот, что Медузой превращен в утес,
И сам я в путях золотых волос,
В чьем блеске меркнет солнца пламень ясный.
Я говорю о сладостных силках,
О той, что стала мукою моею.
Покорствую – не в силах дать отпор.
В ее генч пронизывает страх.
Как мрамор, я от холода белею.
Я камнем стал, увидев этот азор.

СХСVIII

Колелет ветер, солнце освещает
Литые нити пряжи золотой,
Их плел Амур и. сетью их густой
Опутав сердце, дух мой очищает.
Кровинкой каждой сердце ощущает
Предвосхищает приближенья гой,
Что над моею властвует судьбой
И всякий раз ее весы качает.
Узрев огонь, в котором я герм,
Сиянье уз, благодаря которым
Я связан по рукам и по ногам.
Уже не помню, что я говорю,
Теряю разум перед ярким взором,
От нежности своей страдаю сам.

СХСIX

Прекрасная рука! Разжалась ты
И держишь сердце на ладони тесной,
Я на тебя гляжу, дивясь небесной
Художнице столь строгой красоты.
Продолговато-нежные персты,
Прозрачней перлов Индии чудесной,
Вершители моей судьбины крестной,
Я вижу вас в сиянье наготы.
Я завладел ревнивою перчаткой!
Кто, победитель, лучший взял трофей?
Хвала, Амур! А ныне ты ж украдкой
Фату похитить иль облаком развей!..
Вотще! Настал конец услады краткой:
Вернуть добычу должен лиходей.

СС

О эта обнаженная рука,
Увы, ее оденет шелк перчатки!
Так эти две руки смелы и хватки,
Что сердце в плен берут наверняка.
Смертелен лук крылатого стрелка,
Но и ловушек у него в достатке,
Столь дивные привады и подсадки
Опишешь ли посредством языка?
Прекрасные глаза, ресницы, брови,
А этот рот – соковищница роз,
Певучих слов и редкостных жемчужин.
Тут надо быть, однако, наготове.
А вот чело и золото волос,
Таких, что солнца жар уже не нужен.

ССІ

Судьба смягчилась, наградив меня
Бесценным даром – шелковой перчаткой,
Чтоб я достиг вершин отрады сладкой,
Далекий образ в памяти храня.
Не вспоминал я рокового дня,
Забыл позор и той минуты краткой,
Когда богатство я обрел украдкой
И сразу нищим стал, свой стыд кляня.
Не удержал я драгоценной дани,
Безволен, безъязык и безголос,
Я уступил без боя поле брани.
Мне крылья бы – добычу б я унес,
Чтоб отомстить той несравненной длани,
Из-за которой пролил столько слез.

ССІІ

Из недр прозрачных дива ледяного
Исходит пламень, жар его велик,
Он сушит сердце, в кровь мою проник,
Руиной становлюсь, жильем без крова.
Со мною смерть расправиться готова,
Ее небесный гром, звериный рык
Беглянку, жизнь мою, уже настиг,
И трепещу, не в силах молвить слова.
Любовь и сострадание могли б
Меня спасти – две каменных колонны
Встать вопреки крушенью и огню.
Но нет надежды. Чувствую: погиб.

О враг мой нежный, враг мой непреклонный,
Я не тебя, а лишь судьбу виню.

ССIII

Но я горю огнем на самом деле.
Никто не усомнится, лишь одна,
Та, что мне всех дороже, холодна,
Не замечает мук моих доселе.
Краса и недоверье! Неужели
В глазах моих душа вам не видна?
Когда бы не звезды моей вина,
Меня бы пощадили, пожалели.
Мой жар, совсем ненужный вам сейчас,
Мои хвалы божественности вашей,
Возможно, сотни душ воспламят.
Тоска моя, когда не станет нас,
Моя немая речь, твой взор погасший
Еще надолго искры сохранят.

ССIV

Душа моя, которая готова
Все описать, увидеть и прочесть,
Мой жадный взор, душе несущий весть,
Мой чуткий слух, ведущий к сердцу слово,
Неужто дали времени иного
Вы нашим дням хотите предпочесть,
Где два огня, два путеводных есть,
Где след любимых стоп я вижу снова.
Тот след и путеводный яркий свет
Ведут вас в этом кратком переходе, ~
Помогут вечный обрести покой.
О дух мой, возносись в тумане бед,
Встречая гнев, подобный непогоде,
К божественному свету – по прямой.

ССV

Как сладки примиренье и разлад,
Отраднa боль и сладостна досада.
В речах и в разумении – услада
И утешение и сладкий ад.
Терпи, душа, вкушая молча яд,
Бояться сладкой горечи не надо,
Тебе любовь – как высшая награда,
Возлюбленная всех милей стократ.
Спустя столетья кто-нибудь вздохнет:
"Несчастный, что он пережил, страдая,

Но как его любовь была светла".
Другой судьбу ревниво упрекнет:
"Такой красы не встречу никогда я.
О, если бы она теперь жила!"

ССVIII

С альпийских круч ты устремляешь воды
И носишь имя яростной реки,
С тобою мы бежим вперегонки,
Я – волею любви, а ты – природы.
Я отстаю, но ты другой породы,
К морской волне без роздыха теки,
Ты ощутишь, где легче ветерки,
Где чище воздух, зеленее всходы.
Знай: там светила моего чертог,
На левом берегу твоём отлогом
Смятенная душа, быть может, ждет.
Коснись ее руки, плесни у ног,
Твое лобзанье скажет ей о многом:
Он духом тверд, и только плоть сдает.

ССIX

Холмы, где я расстался сам с собою,
То, что нельзя покинуть, покидая,
Идут со мной; гнусь, плечи нагнетая
Амуром данной ношей дорогою.
Я самому себе дивлюсь порою:
Иду вперед, все ига не свергая
Прекрасного, вотще подчас шагая:
К нему что дальше – ближе льну душою.
И как олень, стрелою пораженный,
Отравленную сталь в боку почуя,
Бежит, все больше болью разъяренный,
Так со стрелою в сердце жизнь влачу я,
Томимый ею, но и восхищенный,
От боли слаб, без сил бежать хочу я.

ССX

От Эбро и до гангского истока,
От хладных до полуденных морей,
На всей земле и во вселенной всей
Такой красы не видывало око.
Что мне предскажут ворон и сорока?
Чьи руки держат нить судьбы моей?
Оглохло милосердие, как змей.
Прекрасный лик меня казнит жестоко.

Любой, кто видит эту красоту,
Восторг и сладкий трепет ощущает,
Она дарует всем свой чистый свет,
Но, охлаждая пыл мой и мечту,
Притворствует иль впрямь не замечает
Что я, страдая, стал до срока сед.

ССХІ

Хлысту любви я должен покориться,
У страсти и привычки в поводу
Вослед надежде призрачной иду,
Мне на сердце легла ее десница.
Не видя, сколь коварна проводница,
Ей верит сердце на свою беду,
Во власти чувств рассудок, как в бреду,
Желаний бесконечна вереница.
Краса и святость завладели всем,
В густых ветвях я пойман был нежданно,
Как птица, бьется сердце взаперти.
В то лето – тыща триста двадцать семь,
Шестого дня апреля, утром рано
Вступил я в лабиринт – и не уйти.

ССХІІ

Во сне я счастлив, радуюсь тоске,
К теням и ветру простираю длани,
Кочую в море, где ни дна, ни грани,
Пишу на струях, строю на песке.
Как солнце мне сияет вдалеке,
И слепнет взор, и словно все в тумане,
Спешу я по следам бегущей лани
На колченогом немощном быке.
Все, что не ранит, привлечет едва ли.
– Нет, я стремлюсь во сне и наяву
К Мадонне, к смерти, к роковому краю.
Все эти двадцать долгих лет печали
Стенаньями и вздохами живу.
Я пойман, я люблю, я умираю.

ССХІІІ

Такой небесный дар – столь редкий случай:
Здесь добродетелей высоких тьма,
Под сенью светлых прядей – свет ума,
Сияет скромность красотой жгучей.
Чарует голос ласковый, певучий,
Осанка так божественно пряма,

Во всех движеньях – чистота сама,
Пред ней склонится и гордец могучий.
Способен взор окаменить и сжечь,
И тьму, и ад пронзят его сполохи,
Исторгнув душу, в плоть вернут опять.
А этот сладкий голос, эта речь,
Где полны смысла и слова и вздохи!
Вот что меня могло околдовать.

ССХV

При благородстве крови – скромность эта,
Блестящий ум – и сердца чистота,
При замкнутости внешней – теплота,
И зрелый плод – от молодого цвета,
Да, к ней щедра была ее планета,
Вернее – царь светил, и высота
Ее достоинств, каждая черта
Сломили бы великого поэта.
В ней сочетал Господь любовь и честь,
Очарованьем надели под стать
Природной красоте – очам на радость.
И что-то у нее во взоре есть,
Что в полночь день заставит засиять,
Даст горечь меду и Польши – сладость

ССХVI

Весь день в слезах; ночь посвящаю плачу;
Всем бедным смертным отдыхать в покое,
Мне ж суждено терзаться в муках вдвое:
Так я, живя, на слезы время трачу.
Глаза во влаге жгучей с болью прячу,
Тоскует сердце; в мире все живое
Нужней меня: от стрел любви такое
Терплю гоненье, муку, незадачу.
Увы! Ведь мной с рассвета до рассвета
Днем, ночью – полупройдена дорога
Той смерти, что зовут жизнью моею.
Моя ль беда, вина ль чужая это,
Живая жалость, верная подмога,
Глядит – горю; но я покинут ею.

ССХVII

Я верил в строки, полные огня:
Они в моих стенаньях муку явят
И сердце равнодушное растравят,
Со временем к сочувствию склоня;

А если, ничего не изменя,
Его и в лето ледяным оставят,
Они других негодовать заставят
На ту, что очи прячет от меня.
К ней ненависти и к себе участия
Уж не ищу: напрасны о тепле
Мечты, и с этим примириться надо.
Петь красоту ее – нет выше счастья,
И я хочу, чтоб знали на земле,
Когда покину плоть: мне смерть – отрада.

ССХVIII

Меж стройных жен, сияющих красою,
Она царит. – одна во всей вселенной,
И пред ее улыбкой несравненной
Бледнеют все, как звезды пред зарею.
Амур как будто шепчет надо мною:
Она живет – и жизнь зовут бесценной;
Она исчезнет – счастье жизни брэнной
И мощь мою навек возьмет с собою.
Как без луны и солнца свод небесный,
Без ветра воздух, почва без растений,
Как человек безумный, бессловесный,
Как океан без рыб и без волнений,
Так будет все недвижно в мраке ночи,
Когда она навек закроет очи.

ССХIX

Щебечут птицы, плачет соловей,
Но ближний дол закрыт еще туманом,
А по горе, стремясь к лесным полянам,
Кристаллом жидким прыгает ручей.
И та, кто всех румяней и белей,
Кто в золоте волос – как в нимбе рдяном,
Кто любит Старца и чужда обманам,
Расчесывает снег его кудрей.
Я, пробудясь, встречаю бодрым взглядом
Два солнца – то, что я узнал сызмала,
И то, что полюбил, хоть нелюбим.
Я наблюдал их, восходящих рядом,
И первое лишь звезды затмевало,
Чтоб самому затмиться пред вторым.

ССХХ

Земная ль жила золото дала
На эти две косы? С какого берега

Принес Амур слепительного снега
И теплой плотью снежность ожила?
Где розы взял ланит? Где удила
Размерного речей сладчайших бега
Уст жемчуг ровный? С неба ль мир и нега
Безоблачно-прекрасного чела?
Любови бог! кто, ангел сладкогласный,
Свой чрез тебя послал ей голос в дар?
Не дышит грудь, и день затмится ясный,
Когда поет царица звонких чар...
Какое солнце взор зажгло опасный,
Мне льющий в сердце льдистый хлад и жар?

ССХХI

Какое наважденье, чей увет
Меня бросает безоружным в сечу,
Где лавров я себе не обеспечу,
Где смерть несчастьем будет. Впрочем, нет:
Настолько сладок сердцу ясный свет
Прекрасных глаз, что я и не замечу,
Как смертный час в огне их жарком встречу,
В котором изнываю двадцать лет.
Я чувствую дыханье вечной ночи,
Когда я вижу пламенные очи
Вдали, но если их волшебный взгляд
Найдет меня, сколь мука мне приятна
Вообразить, не то что молвить внятно,
Бессилен я, как двадцать лет назад.

ССХХII

"О донны, почему, сходясь в часы бесед,
Так одиноки вы и смех звучит уныло?
Где жизнь моя теперь, о, где моя могила?
Ну почему средь вас моей любимой нет?"
"Смеемся и грустим, желанный вспомнив свет,
Подругу милую, которой нас лишила
Ревнивая родня, завистливая сила,
Чьи радости растут по мере наших бед".
"Но душу угнетать дано каким законом?"
"Душа – она вольна, здесь плоть в тиски взята,
Мы сами эту боль испытываем ныне.
Подспудную печаль подчас прочесть легко нам:
Ведь мы же видели, как меркла красота,
Как влагой наполнились глаза твоей святыни".

ССХХIII

Когда златую колесницу в море
Купает Солнце, – с меркнувшим эфиром
Мрачится дух тоской. В томленьи сиром
Жду первых звезд. Луна встает – и вскоре
Настанет ночь. Невнемлющей все горе
Перескажу. С собой самим и с миром,
Со злой судьбой моей, с моим кумиром
Часы растрочу в долгом разговоре.
Дремы не подманить мне к изголовью;
Без отдыха до утра сердце стонет,
И, слез ключи раскрыв, душа тоскует.
Редееет мгла, и тень Аврора гонит.
Во мне – все мрак!.. Лишь солнце вновь любовью
Мне грудь зажжет и муки уврачует.

ССXXIV

О, если сердце и любовь верны,
Жетанья чисты, пламенно томленье,
И пылко благородное влеченье,
И все дороги переплетены,
И если мысли на челе ясны,
Но сбивчивы и темны выраженья,
А вспыхнувшие стыд или смущенье
Смывает бледность до голубизны;
И если с болью, гневом и слезами
Любить другого больше, чем себя,
Я осужден, вздыхая сокрушенно,
Пылать вдали и леденеть пред вами,
О, если я от этого, любя,
Терплю урон, – на вас вина, Мадонна.

ССXXV

Двенадцать звезд, двенадцать светлых жен,
Веселых и пристойных в разговоре,
И с ними солнце – в лодке на просторе
Я увидал – и был заморожен.
Нет, ни отплывший за руном Язон,
Ни пастырь, что навлек на Трою горе,
Такой ладьей не бороздили море,
Хотя о них шумят со всех сторон.
Мне встретиласть потом их колесница.
Стыдливая Лаура, ангел тихий,
Чудесно пела, сидя в стороне.
Не всякому подобное приснится.
Кто б их ни вез – Автомедонт иль Тифий,
Завиднее удел не ведом мне.

ССХХVI

Единственный на крыше воробей
Не сиротлив, как я: одна отрада
Прекрасные черты – была для взгляда,
Других не признающего лучей.
Все время плачу – счастья нет полней,
Мне смех – мученье, яства – горше яда,
Сиянье солнца – тусклая лампада,
На смятом ложе не сомкнуть очей.
Недаром люди говорят, что Лете
Сродни течение сна, ведь он, предатель,
Несет сердцам покой небытия.
О край благой, счастливей нет на свете,
Чем ты, моей отрады обладатель,
Которую оплакиваю я!

ССХХУП

Как распускает вьющиеся косы
Летучий ветерок за прядью прядь
И реет в них, стараясь вновь собрать
И заплести их жгут светловолосый,
Я вижу ясно, и в глаза мне осы
Любовные впиваются опять,
И я мое сокровище искать
Бреду в слезах, обильных, словно росы.
То рядом цель, то снова далека,
То пламень мой, то мир перед очами.
Я падаю. Дорога нелегка.
Счастливый воздух, светлыми лучами
Пронизанный, бегущая река,
Зачем не поменялись мы путями?

ССХХVIII

Амур десницей грудь мою рассек
И сердце обнажил и в это лоно
Лавр посадил с листвою столь зеленой,
Что цвет смарагда перед ним поблек.
Его омыл сладчайших слез поток,
Он из земли, страданьем разрыхленной,
Превыше всех деревьев вознесся кроной,
И к небу аромат его востек.
Растенья благороднейшего корни
С тех пор ношу я в сердце неизменно
Добро и славу, честь и красоту,
И целомудрие в одежде горней
И, перед лавром преклоня колена,
Его с молитвой чистой свято чту.

ССXXXIX

Я пел, теперь я плачу, но едва ли
Так сладостны бывали песни мне.
Я обращен всем сердцем к вышине
И дорожу источником печали.
Превратности терпенье воспитали
И с униженьем, с гневом наравне
Приемлю милость, и моей броне
Презренье не опасней острой стали.
И пусть ведут обычную игру
Амур и Госпожа и Рок со мною,
Я буду счастлив мыслями о ней.
Останусь жить, исчахну иль умру
Блаженной нет удела под луною:
Так сладок корень горечи моей.

ССXXX

Я прежде плакал, а теперь пою.
Мое живое кроткое светило
От глаз моих лица не отвратило:
Амур явил мне доброту свою.
Уж я давно рекою слезы лью,
И пусть мой век страданье сократило,
Ни мост, ни брод, ни весла, ни ветрило,
Ни крылья не спасли бы жизнь мою.
Так глубока пролитых слез струя,
Так широко пространство их разлива,
Что переплыть его не в силах я.
Не лавр, не пальма – мирная олива,
Вот дар, что мне несет любовь моя
И жить велит, нежна и терпелива.

ССXXXI

Я жил, довольный жребием своим,
Считая зависть чувством вне закона,
И пусть судьба к другому благосклонна,
От мук моих мой рай неотделим.
Но те глаза, чьим пламенем палим,
Страданья все приемлю я без стопа,
Мне более не светят с небосклона,
Туман застлал их пологом густым.
Природа, сострадательная мать,
Ужель ты так превратна и жестока,
Чтоб свой побег прекраснейший сломать?
Вся мощь твоя из одного истока.

Но ты, Отец небесный, отнимать
Свой дар зачем позволил силе рока?

ССXXXII

Был македонский вождь непобедим,
Но гневу под удар себя подставил:
Вотще Лисипп его победы славил
И с кистью Апеллес стоял пред ним.
Тидей, внезапным гневом одержим,
Кончаясь, Меналиппа обезглавил,
И Суллы дни все тот же гнев убавил,
Не близоруким сделав, но слепым.
Был гнев известен Валентиниану,
Аяксу ведом, что, повергнув рать
Врагов, потом с собою счеты сводит.
Гнев равносильен краткому дурману,
И кто его не может обуздать,
Позор подчас, когда не смерть, находит.

ССXXXIII

Себе на счастье видел я светило
Одно из двух прекраснейших очей
Недужным и померкшим, без лучей;
И свой недуг в мой глаз оно внедрило.
Амура чудо пост мой прекратило,
Явив мне вновь предмет мечты моей;
Ни разу небо не было добрей,
Хоть вспомню все, что мне оно дарило,
Чем нынче, когда в правый глаз мой вдруг
Боль, излетевшая из ока Донны,
Проникла, дав отраду вместо мук.
Природа направляла окрыленный
И разума исполненный недуг,
В полет свой состраданьем устремленный.

ССXXXIV

Приют страданий, скромный мой покой,
Когда не ведала душа надрыва,
Ты был подобьем тихого залива,
Где ждал меня от бурь дневных покой.
Моя постель, где в тишине ночной
Напрасно сон зову нетерпеливо,
О, до чего рука несправедлива,
Что урны слез подьмет над тобой!
И не от тайны я уже спасаюсь,
Себя и мыслей собственных бегу,

Что крыльями бывали для полета,
И в страхе одиночества бросаюсь
К толпе презренной, давнему врагу,
За помощью – чтоб рядом был хоть кто-то.

ССXXXV

Увы, Амур меня неволит снова,
И я, не верный долгу, сознаю,
Что повод к недовольству подаю
Царице сердца моего суровой.
Хранит не так от рифа рокового
Бывалый мореход свою ладью,
Как я скорлупку утлую мою
От признаков высокомерья злого.
Но вздохов ураган и ливень слез
Мой жалкий челн безжалостно толкнули
Туда, где он другому досадил
И снова лишь беду себе принес,
Когда пучина бурная в разгуле,
Разбитый, без руля и без ветрил.

ССXXXVI

Амур, я грешен, но для оправданья
Скажу, что сердце злой огонь палит,
А разум слаб, когда оно болит,
И верх над ним легко берут страданья.
Держал в узде я пылкие желанья,
Боясь, что дерзость ясный взор смутит,
Но сил уж нет, узда из рук летит,
Отчаянье сильней, чем колебанья.
Ты сам велишь, в меня вонзив стрекала,
Рубеж привычный в страсти перейти,
И Донна красотой небывалой
Влечет меня по грешному пути,
Так молви ей, чтоб и она узнала:
"Самой себе грехи его прости".

ССXXXVII

Все сочеталось в нем: высокий гений
С природой царственной, небесный разум
И ясность духа – с острым рысьим глазом,
И прозорливость – с быстротой суждений.
Пришли на праздник в блеске украшений
Избранницы, красой равны алмазам,
Но он одну из всех приметил разом
Ту, что других красавиц совершенней.

И тех, что были старше и знатней.
Он отстранил движеньем горделивым,
Привлек ее – и светочи очей,
И щеки, рдевшие огнем стыдливым,
Поцеловал. Все ликовали с ней,
Лишь я губам завидовал счастливым.

ССХL

Молю Амура снова я и снова,
О радость горькая моя, у вас
Испрашивать прощенья всякий раз,
Когда я уклонюсь с пути прямого.
Что спорить с этим? Соглашусь без слова:
Страсть над душою верх берет подчас,
И я, за нею точно раб влачась,
Теряю меру разума благого.
Но вы, чей дух от неба награжден
Покою, милосердьем, чистотою,
Чье сердце безмятежно, взоры ясны,
Скажите кротко: "Что тут может он?
Моею истомленный красотой,
Он алчен – но зачем я так прекрасна?"

ССХLl

Мой господин, чьей власти необорной
Противиться не хватит смертных сил,
В меня стрелу горящую пустил
И жар любви зажег в душе покорной;
А после, в злых делах своих упорный,
Хоть первый выстрел смертью мне грозил,
Он жалости стрелой меня пронзил,
Предав двойным мученьям дух мой скорбный.
Одна огнем палящим пышет рана,
Другую рану ваш удел жестокий
Слезами растравляет все больней,
Но не погасят мой пожар потоки,
Что из очей струятся непрестанно:
Жалея, сердце жаждет вас сильней.

ССХLll

Взгляни на этот холм, взгляни вокруг,
О сердце, не вот здесь ли, не вчера ли
Мы жалость и участие повстречали,
И вновь ей не до нас и недосуг?
Останься здесь, где мы теперь сам-друг,
Дай выждать время, может быть, из дали

Покажутся нам легче все печали,
О ты, пророк и спутник наших мук!
Ты к сердцу обращаешься, несчастный,
Как будто не расстался с ним давно,
В тот час, когда, томим тоскою страстной,
Ты ею любовался – и оно
Покинуло тебя, ушло к прекрасной
И кануло в глазах ее на дно.

ССХLIII

Здесь, на холме, где зелень рощ светла,
В-задумчивости бродит, напевая,
Та, что, явив нам прелесть духов рая,
У самых славных славу отняла,
Что сердце за собою увлекла:
Оно решило мудро, покидая
Меня для склонов, где трава густая
Следы ее любовно сберегла.
К ней льнет оно и ей твердит всечасно:
"Уставший жить, от долгих слез больной,
Когда бы здесь он мог побыть, несчастный!"
Но гордая смеется надо мной.
Счастливый холм, ты – камень безучастный
И ты же – недоступный рай земной.

ССХLIV

Я сам в беде и злейших бедствий жду.
Куда уйду, коль злу везде дорога?
Мутит мне разум сходная тревога,
В одном мы оба мечемся бреду.
Я обречен страданью и стыду.
Войны иль мира мне просить у бога?
Пусть дастся нам, чья слабость так убога,
Все, что угодно высшему суду.
Не по заслугам честию столь большою
Меня по дружбе ты не награждай:
Пристрастие многим взоры ослепляло,
Но мой совет прими: стремись душою
Достичь небес и сердцу шпоры дай:
Ведь путь далек, а времени так мало!

ССХLV

Позавчера, на первом утре мая,
Возлюбленный, годами умудренный,
На память подарил чете влюбленной
Две свежих розы, взятых им из рая.

И смеху и словам его внимая,
Дикарь бы мог влюбиться, укрощенный,
А он смотрел им в лица, восхищенный,
Их обжигая взглядом и лаская.
"Таких влюбленных больше нет на свете",
Промолвил он, даря, сиянье взгляда,
И обнял их, вздохнув с улыбкой ясной.
Так он делил слова и розы эти,
Которым сердце боязливо радо.
О, что за речь! О, майский день прекрасный!

CCXLVI

Смотрю на лавр вблизи или вдали,
Чьи листья благородные похожи
На волны золотых волос, – и что же!
Душа преодолагает плен земли.
Вовеки розы в мире не цвели,
Что были бы, подобно ей, пригожи.
Молю тебя, о всемогущий Боже,
Не ей, а мне сначала смерть пошли,
Дабы не видеть мне вселенской муки,
Когда погаснет в этом мире свет,
Очей моих отрада, и в разлуке
Лишь к ней стремятся думы столько лет,
Для слуха существуют только звуки
Бе речей, которых слаще нет.

CCXLVII

Возможно, скажут мне, что, славя ту,
Кому я поклоняюсь в этом мире,
Преувеличить позволяю лире
Ум, благородство, тонкость, красоту.
Однако я упреки отмету,
Петь недостойный о моем кумире:
Пусть скептики глаза откроют шире,
Они поймут свою неправоту.
Не сомневаюсь в их суде едином:
"Он вознамерился достичь того,
Что трудно Смирне, Мантуе, Афинам".
Недостижимо это божество
Для песен: будь себе я господином,
О ней бы не писал я ничего.

CCXLVIII

Нельзя представить, сколь щедро Природа
И Небеса, ее не увидав,

Кто, солнцем для меня навеки став,
Затмила все светила небосвода.
Не следует откладывать прихода:
Оставя худших, лучших отобрав,
Их первыми уносит Смерть стремглав,
Увы, за нею выбора свобода.
Не опоздай – и ты утетишь взгляд
Соединением в одном творенье
Всех добродетелей и всех красот
И скажешь, что стихи мои молчат,
Что мой несчастный разум восплепенье.
Кто не успеет, много слез прольет.

CCXLIX

Я вспомню этот день – и цепенею:
Я вижу вновь прощальный скорбный взгляд
Мадонны – и отчаяньем объят.
И рад бы все забыть, да не умею.
Печальный образ слит с душой моею,
И кроткий взор навеки будет свят.
Я чувствовал: забавы ей претят,
И страх неясный властвует над нею.
Привычной живости исчез и след,
Цвета одежд печальны и бледны,
Цветы и песни преданы забвенью.
Я это помню – и покоя нет.
Мрачны предчувствия, тревожны сны.
Дай Бог, чтоб их питало заблужденье.

CCL

В разлуке ликом ангельским давно ли
Меня во сне умела утешать
Мадонна? Где былая благодать?
Тоску и страх унять в моей ли воле?
Все чаще сострадания и боли
Мне мнится на Лице ее печать,
Все чаще внемлю то, что согреть
Надеждой грудь мою не может боле.
"Ты помнишь, не забыл вечерний час,
Мне говорит любимая, – когда
Уход поспешный мой тебя обидел?
Я не могла сказать тебе тогда
И не хотела, что в последний раз
Ты на земле меня в тот вечер видел".

CCLI

Сон горестный Ужасное виденье!
Безвременно ль родимый свет угас?
Ударил ли разлуки страшный час
С тобой, мое земное провиденье,
Надежда, мир, отрада, ограждение?
Что ж, не посла я слышу грозный глас?
Ты ж весть несешь!.. Но да не будет! Спас
Тебя Господь, и лживо наваждение!
Я чаю вновь небесный лик узреть,
Дней наших солнце, славу нам родную,
И нищий дух в лучах его согреть.
Покинула ль блаженная земную
Прекрасную гостиницу – ревную.
О, смерти, Боже! Дай мне умереть!

ССLII

Смущенный духом, то пою, то плачу,
И маюсь, и надеюсь. Скорбный слог
И тяжкий вздох – исход моих тревог.
Все силы сердца я на муки трачу.
Узнают ли глаза мои удачу
И светом звезд насытится зрачок,
Как прежде, – или нет назад дорог
И в вечном плаче я мученье спрячу?
Коль звездам слиться с небом суждено,
Пусть мой удел их больше не тревожит
Они мне солнцем будут все равно.
Я мучаюсь, и страх мученья множит.
С дороги сбился разум мой давно
И верного пути найти не может.

ССLIII

О сладкий взгляд, о ласковая речь,
Увижу ль я, услышу ли вас снова?
О злато кос, пред кем Любовь готова
Заставить сердце кровию истечь!
О дивный лик, с кем так страшусь я встреч,
Чья власть ко мне враждебна и сурова!
О тайный яд любовного покрова,
Назначенного не ласкать, но жечь!
Едва лишь нежный и прелестный взор,
Где жизнь моя и мысль моя пьют сладость,
Пристойный дар пошлет мне иногда,
Как тотчас же спешит во весь опор,
Верхом и вплавь, отнять и эту радость
Фортуна, мне враждебная всегда.

CCLIV

Я о моей врагине тщетно жду
Известий. Столько для догадок пищи,
Но сердце упований пепелище
Напоминает. Я с ума сойду.
Иным краса уж принесла беду,
Она же их прекраснее и чище,
И, может, небо прочит ей в жилище
Господь, чтоб сделать из нее звезду,
Нет, солнце. И тогда существованье
Мое – чреда неистощимых бед
Пришло к концу. О злое расставанье,
Зачем любимой предо мною нет?
Исчерпано мое повествованье,
Мой век свершился в середине лет.

CCLV

Любовникам счастливым вечер мил,
А я ночами плачу одиноко,
Терзаясь до зари вдвойне жестоко,
Скорей бы день в свои права вступил!
Нередко утро лаской двух светил
Согрето, словно сразу два востока
Лучи свои зажгли, чаруя око,
И небо свет земной красоты пленил,
Как некогда, в далекий день весенний,
Когда впервые лавр зазеленел,
Который мне дороже всех растений.
Я для себя давно провел раздел
И ненавистна мне пора мучений
И любо то, что ей кладет предел.

CCLVI

О, если бы я мог обрушить гнев
На ту, чей взгляд меня разит и слово,
И кто, явившись, исчезает снова,
Бежит, чтоб я скорбел, осиротев,
И кто, душой усталой овладев,
Ее казнит и мучит столь сурово,
Что в бедном сердце вместо сна благого
Вдруг просыпается жестокий лев.
Успел стократ погибель испытать я,
Но, сбросив плоть, мой дух стремится к той,
Чье равнодушие тяжелей проклятья.
Непостижимое передо мной:
Когда он с плачем тянет к ней объятья,
Увы, невозмутим ее покой.

CCLVII

Прекрасные черты, предел моих желаний,
Глядеть бы и глядеть на этот дивный лик,
Не отрывая глаз, но в некий краткий миг
Был образ заслонен движеньем нежной длани.
Мой дух, трепещущий, как рыба на кукане,
Привязанный к лицу, где блага свет велик,
Не видел ничего, когда тот жест возник,
Как не узреть птенцу тенета на поляне.
Но зрение мое, утратив свой предмет,
К виденью красоты, как бы во сне, открыло
Дорогу верную, без коей жизни нет.
Передо мной лицо и длань как два светила,
Какой невиданный, какой волшебный свет!
Подобной сладости непостижима сила.

CCLVIII

Искрились ясных глаз живые свечи,
Меня касаясь нежностью лучей,
Из недр глубоких сердца, как ручей,
Ко мне струились ласковые речи.
Теперь все это далеко-далече,
Но жгут воспоминанья горячей:
Был переменчив свет ее очей
И всякий раз иным бывал при встрече.
С привычным не разделаться никак:
Двойных услад душа не знала прежде
И не могла соблазна побороть.
Она, отведав незнакомых благ,
То в страхе пребывала, то в надежде,
Готовая мою покинуть плоть.

CCLIX

Всегда желал я жить в уединенье
(Леса, долины, реки это знают),
Умов, что к небу путь загромождают,
Глухих и темных душ презрев общенье.
Пришло б не там желаньям исполненье,
Где сны Тосканы негу навевают,
А где холмы сочувственно внимают
В тени у Сорги плач мой или пенье.
Но вот судьба враждебна постоянно,
В плену томит, где вижу, негодуя,
Сокровище в грязи, а грязь бездонна.
И пишущую руку так неожиданно

Балует – и права; ей заслужу я:
Амур то видит, знаю я – и Донна.

CCLX

Мне взор предстал далекою весною
Прекрасный – два Амуровых гнезда,
Глаза, что сердце чистой глубиною
Пленили, – о счастливая звезда!
Любимую нигде и никогда
Затмить не сможет ни одна собою,
Ни даже та, из-за кого беда
Смертельная обрушилась на Трою,
Ни римлянка, что над собой занесть
Решилась в гневе благородном сталь,
Ни Поликсена и ни Ипсипила.
Она прекрасней всех – Природы честь,
Моя отрада; только очень жаль,
Что мир на миг и поздно посетила.

CCLXI

Той, что мечтает восхищать сердца
И жаждет мудростью себя прославить
И мягкостью, хочу в пример поставить
Любовь мою – нет лучше образца.
Как жить достойно, как любить Творца,
Не подражая ей, нельзя представить,
Нельзя себя на правый путь наставить,
Нельзя его держаться до конца.
Возможно говор перенять, звучащий
Столь нежно, и молчанье, и движенья.
Имея идеал перед собой.
И только красоте ее слепящей
Не научиться, ибо от рожденья
Она дана иль не дана сульбой.

CCLXII

– Жизнь – это счастье, а утратить честь
– Мне кажется, не столь большое горе.
– Нет! Если честь несвойственна синьоре,
То в ней ничто нельзя за благо счесть.
Она мертва – пусть даже пламя есть
В ее измученном и скорбном взоре.
Дорога жизни в тягостном позоре
Страшней, чем смерть и чем любая месть.
Лукрецию бы я не осуждала,
Когда б она без помощи кинжала

В великой скорби казнь свою нашла.
Подобных философий очень много,
Все низменны, и лишь одна дорога
Уводит нас от горечи и зла.

CCLXIII

Высокая награда, древо чести,
Отличие поэтов и царей,
Как много горьких и счастливых дней
Ты для меня соединила вместе!
Ты госпожа – и честь на первом месте
Поставила, и что любовный клей
Тебе, когда защитой твоей
Пребудет разум, неподвластный лести?
Не в благородство крови веришь ты,
Ничтожна для тебя его цена,
Как золота, рубинов и жемчужин.
Что до твоей высокой красоты,
Она тебе была бы неважна,
Но чистоте убор прекрасный нужен.

СОНЕТЫ НА СМЕРТЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ

CCLXV

Безжалостное сердце, дикий нрав
Под нежной, кроткой, ангельской личиной
Бесславной угрожают мне кончиной,
Со временем отнюдь добрей не став.
При появлении и при смерти трав,
И ясным днем, и под луной пустынной
Я плачу. Жребий мой тому причиной,
Мадонна и Амур. Иль я не прав?
Но я отчаиваться не намерен,
Я знаю малой капли образец,
Точившей мрамор и гранит усердьем.
Слезой, мольбой, любовью, я уверен,
Любое можно тронуть из сердец,
Покончив навсегда с жестокосердьем.

CCLXVI

Синьор, я вечно думаю о Вас,
И к Вам летит мое любое слово;
Моя судьба (о, как она сурова!)
Влечет меня и кружит каждый час.
И жар любви все так же не угас
Я жду давно конца пути земного,

Два светоча я призываю снова,
Как призывал их прежде много раз.
Мой господин, моя благая Донна,
Свободы мне на свете больше нет,
Собою сам навеки я наказан:
Зеленый Лавр – и гордая Колонна,
К одной прикован я пятнадцать лет,
К другому – восемнадцать лет привязан.

CCLXVII

Увы, прекрасный лик! Сладчайший взгляд!
Пленительность осанки горделивой!
Слова, что ум, и дикий, и кичливый,
Смирная, мощным жалкого творят!
Увы и нежный смех! Пускай пронзят
Его струи – была бы смерть счастливой!
Дух царственный, не в поздний век и лживый
Ты властвовал бы, высоко подъят.
Пылать мне вами и дышать мне вами:
Весь был я ваш; и ныне, вас лишенный,
Любую боль я б ощутил едва.
Вы полнили надеждой и мечтами
Разлуки час с красой одушевленной:
Но ветер уносил ее слова.

CCLXIX

Повержен Лавр зеленый.
Столп мой стройный
Обрушился. Дух обнищал и сир.
Чем он владел, вернуть не может мир
От Индии до Мавра. В полдень знойный
Где тень найду, скиталец беспокойный?
Отраду где? Где сердца гордый мир?
Все смерть взяла. Ни золото, ни сапфир,
Ни царский трон – мздой не были б достойной
За дар двойной былого. Рок постиг!
Что делать мне? Повить чело кручиной
И так нести тягчайшее из иг.
Прекрасна жизнь – на вид. Но день единый,
Что долгих лет усиьем ты воздвиг,
Вдруг по ветру развеет паутиной.

CCLXXI

Горящий узел, двадцать один год
За часом час меня сжимавший яро,
Рассекла смерть, – не знал я злей удара;

Но человек с печали не умрет.
Опять Амур мне воли не дает:
Другой силок в траве – и, сердцу кара,
Вновь искра разожгла огонь пожара
Так, что с трудом сыскал бы я исход.
Не помоги мне опытностью сила
Бывалых бед, сгорел бы я, сраженный,
Мгновенно вспыхнув, словно сук сухой.
Вторично смерть меня освободила,
Расторгнут узел, огонь угас, сметенный,
Пред ней и сила – в прах, и дар прямой.

CCLXXII

Уходит жизнь – уж так заведено,
Уходит с каждым днем неудержимо,
И прошлое ко мне непримиримо,
И то, что есть, и то, что суждено.
И позади, и впереди – одно,
И вспоминать, и ждать невыносимо,
И только страхом божьим объяснимо,
Что думы эти не пресек давно.
Все, в чем отраду сердце находило,
Сочту по пальцам. Плаванью конец:
Ладье не пересилить злого шквала.
Над бухтой буря. Порваны ветрила,
Сломалась мачта, изнурен гребец
И путеводных заезд как не бывало.

CCLXXIII

Зачем, зачем даешь себя увлечь
Тому, что миновалось безвозвратно,
Скорбящая душа? Ужель приятно
Себя огнем воспоминаний жечь?
Умильный взор и сладостная речь,
Воспетые тобой тысячекратно,
Теперь на небесах, и непонятно,
Как истиною можно пренебречь.
Не мучь себя, бывшее воскрешая,
Не грезой руководствуйся слепой,
Но думою, влекущей к свету рая,
Ведь здесь ничто не в радость нам с тобой,
Плененным красотой, что, как живая,
По-прежнему смущает наш покой.

CCLXXIV

Покоя дайте мне, вы, думы злые:

Амур, Судьба и Смерть – иль мало их?
Теснят повсюду, и в дверях моих,
Пусть мне и не грозят бойцы иные.
А сердце, – ты, как и во дни былые,
Лишь мне ослушно, – ярых сил каких
Не укрываешь, быстрых и лихих
Врагов моих пособник, не впервые?
В тебе Амур таит своих послов,
В тебе Судьба все торжества справляет,
И Смерть удар свой рушит надо мною
Разбить остаток жизни угрожает;
В тебе и мыслям суетнейшим кров;
Так ты одно всех бед моих виною.

CCLXXV

Глаза мои! – зашло то солнце, за которым
В нездешние края пора собраться нам...
Мы снова будем с ним, – оно заждалось там,
Горюет, судит нас по нашим долгим сборам...
О слух мой! – к ангельским теперь приписан хорам
Тот голос, более понятный небесам.
Мой шаг! – зачем, за той пускаясь по пятам,
Что окрыляла нас, ты стал таким нескорым?
Итак, зачем вы все мне дали этот бой?
Не я причиною, что убежала взгляда,
Что обманула слух, что отнята землей,
Смерть – вот кого хулить за преступленье надо!
Того превознося смиренною хвалой,
Кто разрешитель уз, и после слёз – отрада.

CCLXXVI

Лишь образ чистый, ангельский мгновенно
Исчез, великое мне душу горе
Пронзило – в мрачном ужасе, в раздоре.
Я слов ищу, да выйдет боль из плена.
Она в слезах и пенях неизменна:
И Донна знает, и Амур; опоре
Лишь этой верит сердце в тяжком споре
С томленьями сей жизни зол и тлена.
Единую ты, Смерть, взяла так рано;
И ты, Земля, земной красы опека,
Отныне и почиющей охрана,
Что ты гнетешь слепого человека?
Светил любовно, нежно, осиянно
Свет глаз моих – и вот угас до века.

CCLXXVII

Коль скоро бог любви былой завет
Иным наказом не заменит вскоре,
Над жизнью смерть восторжествует в споре,
Желанья живы, а надежда – нет.
Как никогда, страшусь грядущих бед,
И прежде не выплакано горе,
Ладью житейское терзает море,
И ненадежен путеводный свет.
Меня ведет мираж, а настоящий
Маяк – в земле, верней, на небесах,
Где ярче светит он душе скорбящей,
Но не глазам, – они давно в слезах,
И скорбь, затмив от взора свет манящий,
Сгущает ранний иней в волосах.

CCLXXVIII

Она во цвете жизни пребывала,
Когда Амур стократ сильнее нас,
Как вдруг, прекрасна без земных прикрас,
Земле убор свой тленный завешала
И вознеслась горб без покрывала,
И с той поры я вопрошал не раз:
Зачем не пробил мой последний час
Предел земных и вечных дней начало,
С тем чтобы радостной души полет
За ней, терзавшей сердце безучастьем,
Освободил меня от всех невзгод?
Однако свой у времени отсчет...
А ведь каким бы это было счастьем
Не быть в живых сегодня третий год!

CCLXXIX

Поют ли жалобно лесные птицы,
Листва ли шепчет в летнем ветерке,
Струи ли с нежным рокотом в реке,
Лаская берег, гурлят, как голубицы,
Где б я ни сел, чтоб новые страницы
Вписать в дневник любви, моей тоске
Родные вздохи вторят вдалеке,
И тень мелькнет живой царицы.
Слова я слышу... "Полно дух крушить
Безвременно печалию, – шепнула,
Пора от слез ланиты осушить!
Бессмертье в небе грудь моя вдохнула,
Его ль меня хотел бы ты лишить?
Чтоб там прозреть, я здесь глаза сомкнула".

CCLXXX

Не знаю края, где бы столь же ясно
Я видеть то, что видеть жажду, мог
И к небу пени возносить всечасно,
От суеты мирской, как здесь, далек;
Где столько мест, в которых безопасно
Вздыхать, когда для вздохов есть предлог,
Должно быть, как на Кипре ни прекрасно,
И там подобный редкость уголок.
Все полно здесь к любви благоволенья,
Все просит в этой стороне меня
Хранить любовь залогом утешенья.
Но ты, душа в обители спасенья,
Скажи мне в память рокового дня,
Что мир достоин моего презренья.

CCLXXXI

Как часто от людей себя скрываю
Не от себя ль? – в своей пустыне милой
И слезы на траву, на грудь роняю,
Колебля воздух жалобой унылой!
Как часто я один мечту питаю,
Уйдя и в глушь, и в тень, и в мрак застылый,
Ее, любовь мою, ищу и чаю,
Зову от властной смерти всею силой!
То – нимфа ли, богиня ли иная
Из ясной Сорги выходя, белеет
И у воды садится, отдыхая;
То, вижу, между сочных трав светлеет,
Цветы собирая, как жена живая,
И не скрывает, что меня жалеет.

CCLXXXII

Ты смотришь на меня из темноты
Моих ночей, придя из дальней дали:
Твои глаза еще прекрасней стали,
Не исказила смерть твои черты.
Как счастлив я, что скрашиваешь ты
Мой долгий век, исполненный печали!
Кого я вижу рядом? Не тебя ли,
В сиянии нетленной красоты
Там, где когда-то песни были данью
Моей любви, где плачу я, скорбя,
Отчаянья на грани, нет – за гранью?
Но ты приходишь – и конец страданью:
Я различаю по шагам тебя,

По звуку речи, лику, одеянию.

CCLXXXIII

Ты красок лик невиданный лишила,
Ты погасила, Смерть, прекрасный взгляд,
И опустел прекраснейший наряд,
Где благородная душа гостила.
Исчезло все, что мне отрадно было,
Уста сладкоречивые молчат,
И взор мой больше ничему не рад,
И слуху моему ничто не мило.
Но, к счастью, утешенье вновь и вновь
Приносит мне владычица моя
В другие утешенья я не верю.
И если б свет и речь Мадонны я
Мог воссоздать, внушил бы я любовь
Не то что человеку – даже зверю.

CCLXXXIV

Столь краток миг, и дума столь быстра,
Которые почиющую в Боге
Являют мне, что боль сильней подмоги;
Но счастлив я – судьба ко мне добра.
Амур, все тот же деспот, что вчера,
Дрожит, застав Мадонну на пороге
Моей души: чертее не строги,
И роковою негой речь щедра.
Величественной госпожой, живая,
Она вступает в сердце – и тогда
Оно светлеет, вновь открыто свету.
И ослепленная душа, вздыхая,
Ликует: "О великий час, когда
Твой взор открыл пред ней дорогу эту!"

CCLXXXV

Не слышал сын от матери родной,
Ни муж любимый от супруги нежной
С такой заботой, зоркой и прилежной,
Преподанных советов: злой виной
Не омрачать судьбы своей земной
Какие, малодушный и мятежный,
Приемлю я от той, что, в белоснежный
Одета свет, витает надо мной.
В двойном обличье: матери и милой.
Она трепещет, молит и горит,
К стезе добра влечет и нудит силой

И, ей подвигнут, вольный дух парит;
И мир мне дан с молитвой легкокрылой,
Когда святая сердцу говорит.

CCLXXXVI

Коль скоро вздохов теплую волну,
Знак милости ко мне моей богини,
Что пребывает на земле поныне,
Ступает, любит, если верить сну,
Я описать сумел бы, не одну
Зажгла бы душу речь о благостьше,
Сопутствующей мне в земной пустыне,
А вдруг назад иль влево поверну.
На истинный, на правый путь подъемлет
Меня призыв ее благой и нежный,
И я, высоким попеченьем горд,
К совету преклоняю слух прилежный,
И если камень ей при этом внемлет,
И он заплачет, как бы ни был тверд.

CCLXXXVII

Сеннуччо мой! Страдая одиноко,
Тобой покинут, набираюсь сил:
Из тела, где плененным, мертвым был,
Ты, гордый, поднялся в полет высоко.
Два полюса зараз объемлет око,
Дугообразный плавный ход светил;
Зришь малость, что наш кругозор вместил,
Рад за тебя, скорблю не столь глубоко.
Скажи, прошу усердно, в третьей сфере
Гвиттоне, Чияо, Данту мой поклон
И Франческино; прочим – в равной мере.
А Донне передай, сколь удручен,
Живу в слезах; тоска, как в диком звере;
Но дивный лик, святыня дел – как сон.

CCLXXXVIII

Моих здесь воздух полон воздыханий;
Нежна холмов суровость вдалеке;
Здесь рождена державшая в руке
И сердце – зрелый плод, и цветик ранний;
Здесь в небо скрылась вмиг – и чем неожиданней,
Тем все томительней искал в тоске
Ее мой взор; песчинок нет в песке,
Не смоченных слезой моих рыданий.
Нет здесь в горах ни камня, ни сучка,

Ни ветки или зелени по склонам,
В долинах ни травинки, ни цветка;
Нет капельки воды у ручейка,
Зверей нет диких по лесам зеленым,
Не знающих, как скорбь моя горька.

CCLXXXIX

Свой пламенный, прекрасней и ясней
Окрестных звезд, в ней небо даровало
На краткий срок земле; но ревновало
Ее вернуть на родину огней.
Проснись, прозри! С невозвратимых дней
Волшебное спадает покрывало.
Тому, что грудь мятежно волновало,
Сказала "нет" она. Ты спорил с ней.
Благодари! То нежным умиленьем,
То строгостью она любовь звала
Божественней расцвести над вождельем.
Святых искусств достойные дела
Глаголом гимн творит, краса – явленьем:
Я сплел ей лавр, она меня спасла!

ССХС

Как странен свет! Я нынче восхищен
Тем, что вчера претило; вижу, знаю,
Что муками я счастья достигаю,
А за борьбой короткой – вечный сон.
Обман надежд, желаний, – кто влюблен,
Тот сотни раз испил его до краю.
С той радость как ущерб я постигаю,
Чей нынче в небе дух, прах – погребен.
Амур слепой, ум злостный – все сбивало
Меня с пути, я влекся дикой силой
Туда, где смерть меня одна ждала.
Благословенна ты, что, берег милый
Мне указав, надеждой обуздала
Пыл буйной страсти – и меня спасла.

ССХСІ

На землю златокудрая Аврора
Спускается с небесной высоты,
И я вздыхаю с чувством пустоты:
"Лаура – там". И мыслям нет простора.
Титон, ты знаешь каждый раз, что скоро
Сокровище свое получишь ты,
Тогда как мне до гробовой черты

Любезным лавром не лелеять взора.
Счастливым! Чуть падет ночная тень,
Ты видишь ту, что не пренебрегла
Почтенными сединами твоими.
Мне полнит ночь печалью, мраком – день
Та, что с собою думы увлекла,
Взамен оставя от себя лишь имя.

ССХСII

Я припадал к ее стопам в стихах,
Сердечным жаром наполняя звуки,
И сам с собою пребывал в разлуке:
Сам – на земле, а думы – в облаках.
Я пел о золотых ее кудрях,
Я воспевал ее глаза и руки,
Блаженством райским почитая муки,
И вот теперь она – холодный прах.
А я без маяка, в скорлупке сирой
Сквозь шторм, который для меня не внове,
Плыву по жизни, правя наугад.
Да оборвется здесь на полуслове
Любовный стих! Певец устал, и лира
Настроена на самый скорбный лад.

ССХСIII

Коль скоро я предвидеть был бы в силе
Успех стихов, где я вздыхал о ней,
Они росли бы и числом скорей
И большим блеском отличались в стиле.
Но Муза верная моя в могиле,
И, продолженье песен прежних дней,
Не станут строфы новые светлей,
Не станут благозвучнее, чем были.
Когда-то не о славе думал я,
Но лишь о том мечтал, чтоб каждый слог
Биеньем сердца был в составе слова.
Теперь бы я творить для славы мог,
Но не бывать тому: любовь моя
Зовет меня – усталого, немного.

ССХСIV

Она жила во мне, она была жива,
Я в сердце жалкое впустил ее – синьору.
Увы, все кончено. Где мне найти опору?
Я мертв, а ей дано бессмертье божества.
Душе ограбленной утратить все права,

Любви потерянной скитаться без призору,
Дрожать от жалости плите надгробной впору,
И некому их боль переложить в слова.
Их безутешный плач извне услышать трудно,
Он глубоко во мне, а я от горя глух,
И впредь мне горевать и впредь страдать от ран.
Воистину мы прах и сиротливый дух,
Воистину – слепцы, а жажда безрассудна,
Воистину мечты в себе таят обман.

ССХСV

Что делать с мыслями? Бывало, всякий раз
Они лишь об одном предмете толковали:
"Она корит себя за наши все печали,
Она тревожится и думает о нас".
Надежды этой луч и ныне не погас:
Она внимает мне из поднебесной дали
С тех пор, как дни ее земные миновали,
С тех пор, как наступил ее последний час.
Счастливая душа! Небесное созданье!
Чудесная краса, которой равных нет!
Она в свой прежний рай вернулась, где по праву
Блаженство ей дано за все благодеянья!
А здесь, в кругу живых, ее безгрешный свет
И жар моей любви ей даровали славу.

ССХСVІ

Я прежде склонен был во всем себя винить,
А ныне был бы рад своей былой неволе
И этой сладостной и этой горькой боли,
Которую сумел потайно сохранить.
О Парки злобные! Вы оборвали нить
Единственной судьбы, столь милой мне в юдоли,
У золотой стрелы вы древко раскололи,
А я для остря был счастлив грудь открыть.
Когда она жила, мой дух отверг свободу,
И радости, и жизнь, и сладостный покой,
Все это обрело и смысл и образ новый.
Напевам, сложенным кому-нибудь в угоду,
Я стоны предпочел во имя той, одной,
И гибельный удар, и вечные оковы.

ССХСVІІ

В ней добродетель слиться с красотою
Смогли в столь небывалом единенье,
Что в душу к ней не занесли смятенья,

Ты жадно прячешь ту, о ком тоскую,
Ты отнял у меня мою благую,
Мою опору в жизненных боях.
Завидую вам, духи, в небесах,
Вы приняли подругу молодую
В свой светлый круг, которого взыскую,
И отказали мне в ее лучах.
Завидую, в блаженной их судьбе,
Тем избранным, что созерцают ныне
Святой и тихий блеск ее чела.
Завидую, Врагиня-Смерть, тебе,
Ты жизнь ее в предел свой унесла,
Меня ж оставила в земной пустыне.

СССИ

Дол, полный звуков пеней повторенных,
Река, где токи есть моей слезницы;
Лесные звери, стаи вольной птицы
И рыбок, пленниц берегов зеленых;
Струи моих вздыханий воспаленных;
Мест, милых мне, обидные границы;
Холмов, теперь досадных, вереницы,
Где ждет Амур, как прежде, дум влюбленных,
Ваш вид все тот же, что давно мне ведом,
Но я не тот: где радостью все было,
Живут во мне безмерные страданья.
Тут счастье зрел воочью. Прежним следом
Туда, где бестелесной воспарила,
Отдав земле всю роскошь одеянья.

СССИ

Восхитила мой дух за грань вселенной
Тоска по той, что от земли взята;
И я вступил чрез райские врата
В круг третий душ. Сколь менее надменной
Она предстала в красоте нетленной!
Мне руку дав, промолвила: "Я та,
Что страсть твою гнала. Но маета
Недолго длилась, и неизреченный
Мне дан покой. Тебя лишь возле нет,
Но ты придешь, – и дольнего покрова,
Что ты любил. Будь верен; я – твой свет".
Что ж руку отняла и смолкло слово?
Ах, если б сладкий все звучал привет,
Земного дня я б не увидел снова!

СССИ

Амур, что был со мною неразлучен
На этих берегах до неких пор
И продолжал со мной, с волнами спор,
Который не был никому докучен;
Зефир, цветы, трава, узор излучин,
Холмами ограниченный простор,
Невзгод любовных порт под сенью гор,
Где я спасался, бурями измучен;
О в зарослях лесных певцы весны,
О нимфы, о жильцы кристальных недр,
Где в водорослях можно заблудиться,
Услышьте: дни мои омрачены
Печатью смерти. Мир настолько щедр,
Что каждый под своей звездой родится!

СССIV

Когда любовь, как червь, точила ум
И дух мой жил надеждою подспудной,
Петлистый след искал я, безрассудный,
На гребнях гор, покинув жизни шум.
Не выдержав невзгод, я стал угрюм
И в песнях сетовал на жребий трудный.
Но нужных слов не знал, и дар мой скудный
В те дни невнятно пел смятенье дум.
Под скромным камнем пламень скрыт огромный.
Когда б, стихи слагая, вслед за всеми
Я к старости степенной путь держал,
То слог мой хилый силой неуемной
И совершенством наделило б время
И камень бы дробился и рыдал

СССV

Душа, покинувшая облаченье
Такого вновь Природе не создать,
На миг отринь покой и благодать,
Взгляни, печалясь, на мои мученья.
Ты встарь питала в сердце подозренья,
Но заблужденья прежнего печать
Твой взгляд не будет больше омрачать
Так влей мне в душу умиротворенье!
Взгляни на Соргу, на ее исток
Меж вод и трав блуждает одиноко,
Кто память о тебе не превозмог.
Но не смотри на город, где до срока
Ты умерла, где ты вошла в мой слог
Пусть ненавистного избегнет око.

СССVI

Светило, что направило мой шаг
На верный путь и славы свет явило,
Вступило в круг верховного светила,
И, взят могилой, светоч мой иссяк.
Я диким зверем стал, бегу во мрак,
Мой шаг неверен, сердце боль сдавила,
Глазам, склоненным долу, все постыло,
Пустынен мир, и ум мой миру враг.
Ищу места, где некогда Мадонна
Являлась мне. Светило прежних лет,
Любовь, веди из тьмы мой дух смятенный!
Любимой нет нигде – знакомый след,
Чураясь Стикса глубины бездонной,
Ведет к вершинам, где сияет свет.

СССVII

Я уповал на быстрые крыла,
Поняв, кому обязан я полетом,
На то, что скромная моя хвала
Приблизится к моим живым тенетам.
Однако если веточка мала,
Ее к земле плоды сгибают гнетом,
И я не мог сказать: "Моя взяла!"
Для смертных путь закрыт к таким высотам.
Перу, не то что слову, не взлететь,
Куда Природа без труда взлетела,
Пленившую меня сплетая сеть.
С тех пор как завершил Природы дело
Амур, я не достоин даже зреть
Мадонну был, но мне судьба радела.

СССVIII

Той, для которой Соргу перед Арно
Я предподчел и вольную нужду
Служенью за внушительную мзду,
На свете больше нет: судьба коварна.
Не будет мне потомство благодарно,
Напрасно за мазком мазок кладу:
Краса любимой, на мою беду,
Не так, как в жизни, в песнях лучезарна.
Одни наброски – сколько ни пиши,
Но черт отдельных для портрета мало,
Как были бы они ни хороши.
Душевной красотой она пленяла,
Но лишь доходит дело до души

Умения писать как не бывало.

СССІХ

Лишь ненадолго небо подарило
Подлунной чудо – чудо из чудес,
Что снова изволением небес
К чертогам звездным вскоре воспарило.
Любовь стихи в уста мои вложила,
Чтоб след его навеки не исчез,
Но жизнь брала над словом перевес,
И лгали, лгали перья и чернила.
Не покорилась высота стихам,
Я понял, что они несовершенны,
Что тут, увы, отступится любой.
Кто проникателен, представит сам,
Что это так, и скажет: "О, блаженны
Глаза, что видели ее живой!"

СССХ

Опять зефир подул – и потеплело,
Взошла трава, и, спутница тепла,
Щебечет Прокна, плачет Филомела,
Пришла весна, румяна и бела.
Луга ликуют, небо просветлело,
Юпитер счастлив – дочка расцвела,
И землю, и волну любовь согрела
И в каждой божьей твари ожила.
А мне опить вздыхать над злой судьбою
По воле той, что унесла с собою
На небо сердца моего ключи.
И пенье птиц, и вешние просторы,
И жен прекрасных радостные взоры
Пустыня мне и хищники в ночи.

СССХІ

О чем так сладко плачет соловей
И летний мрак живит волшебной силой?
По милой ли тоскует он своей?
По чадам ли? Ни милых нет, ни милой.
Всю ночь он будит грусть мою живею,
Ответствуя, один, мечте унылой...
Так, вижу я: самих богинь сильней
Царица Смерть! И тем грозит могилой!
О, как легко чарует нас обман!
Не верил я, чтоб тех очей светила,
Те солнца два живых, затмил туман,

Но черная земля их поглотила.
"Все тлен! – поет нам боль сердечных ран.
Все, чем бы жизнь тебя ни обольстила".

СССХII

Ни ясных звезд блуждающие станы,
Ни полные на взморье паруса,
Ни с пестрым зверем темные леса,
Ни всадники в доспехах среди поляны,
Ни гости с вестью про чужие страны,
Ни рифм любовных сладкая краса,
Ни милых жен поющих голоса
Во мгле садов, где шепчутся фонтаны,
Ничто не тронет сердца моего.
Все погребло с собой мое светило,
Что сердцу было зеркалом всего.
Жизнь однозвучна. Зрелище уныло,
Лишь в смерти вновь увижу то, чего
Мне лучше б никогда не видеть было.

СССХIII

О ней писал и плакал я, сгорая
В прохладе сладостной; ушло то время
Ее уж нет, а мне осталось бремя
Тоски и слез – и рифм усталых стая.
Взор нежных глаз, их красота святая
Вошли мне в сердце, словйю в пашню семя,
Но это сердце выбрала меж всеми
И в плащ свой завернула, отлетая.
И с ней оно в земле и в горних куцах,
Где лучшую из чистых и смиренных
Венчают лавром, Славой осиянным...
О, как мне отрешиться от гнетущих
Телесных риз, чтоб духом первозданным
И с ней и с сердцем слиться – меж блаженных?

СССХIV

Душа, свой путь утрат ты предвещала,
В дни радости задумчива, уныла,
Ища среди всего, что в жизни мило,
Покоя от скорбей, точивших жала.
Слова, черты, движенья покрывала
И, с болью, жалости нежданной сила
Тебе в прозренье это все гласило:
Сей день – последний, счастье миновало.
О бедная душа! О обаянье!

Как мы пылали здесь, где взглядом жил я
Очей – последним, сам того не зная!
Им, двум друзьям вернейшим, поручил я
Сокровищ благороднейших деянье,
Дум дивный клад и сердце оставляя.

СССХV

Преполовилась жизнь. Огней немного
Еще под пеплом тлело. Нетяжел
Был жар полудней. Перед тем как в дол
Стремглав упасть, тропа стлалась отлого.
Утишилась сердечная тревога,
Страстей угомонился произвол,
И стал согласьем прежних чувств раскол.
Глядела не пугливо и не строго
Мне в очи милая. Была пора,
Когда сдружиться с Чистотой достоин
Амур, и целомудренна игра
Двух любящих, и разговор спокоен.
Я счастлив был... Но на пути Добра
Нам Смерть предстала, как в железе воин

СССХVI

Я гнал войну, я бредил скорой встречей
С покоем, мчался к цели напрямик.
Но брошен вспять – меня в пути настиг
Перст миротворицы противоречий.
Нагрывает вихрь – и тучи гибнут в сече.
Явилась Смерть – и жизнь пресеклась вмиг,
И глаз прекраснейших иссяк родник,
И я томлюсь в тоске нечеловечьей.
Меняют нрав лета и седина.
Подоле во плоти она живи,
От сердца подозренья б отвратила.
Поведал бы о горестях любви
Мой чистый вздох, к которому она,
Я знаю, в небе с болью слух склонила.

СССХVII

Амур меня до тихого причала
Довел лишь в вечеряющие годы
Покоя, целомудрия – свободы
От страсти, что меня обуревала.
Не потому ль душа любимой стала
Терпимее к душе иной породы?
Но Смерть пришла и загубила всходы

Все, что растил, – в единый миг пропало.
А между тем уж время приближалось,
Когда она могла б внимать сердечно
Моим словам о нежности, что длится.
В ее святых речах сквозила б жалость...
Но стали бы тогда у нас, конечно,
Совсем иными волосы и лица...

СССXVIII

Когда судьба растение сотрясла,
Как буря или как удар металла,
И обнажились корни догола,
И гордая листва на землю пала,
Другое Каллиопа избрала
С Эвтерпой – то, что мне потом предстало,
Опутав сердце; так вокруг ствола
Змеится плющ. Все началось сначала.
Красавец лавр, где, полные огня,
Мои гнездились прежде воздыханья,
Не шевельнув ни веточки в ответ,
Оставил корни в сердце у меня,
И есть кому сквозь горькие рыданья
Взывать, но отклика все нет и нет

СССXIX

Промчались дни мои быстрее лани,
И если счастье улыбалось им,
Оно мгновенно превращалось в дым.
О сладостная боль воспоминаний!
О мир превратный! Знать бы мне заранее,
Что слеп, кто верит чаяньям слепым!
Она лежит под сводом гробовым,
И между ней и прахом стерлись грани.
Но высшая краса вознесена
На небеса, и этой неземною
Красой, как прежде, жизнь моя полна,
И трепетная дума сединою
Мое чело венчает: где она?
Какой предстанет завтра предо мною?

СССXX

Как встарь, зефир над нежными холмами;
Да, вот они, где дивный свет явился
Очам моим, что небу полюбился,
Смяв пыл и радость горем и слезами.
Тщета надежд с безумными мечтами!

Меж сырых трав источник помутился,
И пусто гнездышко. Я с ним сроднился,
Здесь жив, здесь лечь и бренными костями
Да изойдут и сладкие рыдания,
Не жгут и очи сердца прах остывший,
И отдых обретут мои страдания.
Владыка мой был щедр нещадной силой:
Лицом к лицу с огнем – я знал пыланья!
Оплакиваю ныне пепел милый.

СССXXI

Тут не гнездо ли Феникса живого?
Здесь перья злато-рдяные слагала
И под крылом мне сердце согревала
Та, что поныне внемлет вздох и слово.
Здесь и страдания сладкого основа:
Где то лицо, что, все светясь, вставало,
Жизнь, радость, пыл и мощь в меня вливалось?
Была – одна, едина – в небе снова.
Покинут, одиноко изнываю
И все сюда влачусь, исполнен боли,
Твои святыни чту и воспеваю;
Холмы все вижу в полуночном доле
И твой последний взлет к иному краю
Здесь, где твой взор дарил рассвет юдоли.

СССXXII

Нет, не читать без судорог ума,
Без дрожи чувств, глазами без печали
Стихи, что благостью Любви сияли
Их сочинила Доброта сама.
Тебе претила зла земного тьма
И ныне светишь из небесной дали;
Стихи, что Смертью преданы опале,
Ты всыпал снова в сердца закрома.
Ты б наслаждался новыми плодами
Моих ветвей. Какая из планет
Завистливо воздвигла Смерть меж нами?
Кто скрыл тебя, чей неизбывный свет
Я вижу сердцем и пою устами,
Тебя, чьим словом я бывал согрет?

СССXXVI

Теперь жестокой дерзости твоей
Я знаю, Смерть, действительную цену:
Цветок прекрасный гробовому плену

Ты обрекла – и мир теперь бедней
Теперь живому свету наших дней
Ты принесла крошечный мрак на смену,
Но слава, к счастью, не подвластна тлену,
Она бессмертна, ты ж костями владей,
Но не душой: покинув мир суровый,
Ей небо радовать своим сияньем,
И добрым людям не забыть ее.
Да будет ваше сердце, ангел новый,
Побеждено на небе состраданьем,
Как в мире вашей красотой – мое.

СССХХVII

Дыханье лавра, свежесть, аромат
Моих усталых дней отдохновенье,
Их отняла в единое мгновенье
Губительница всех земных отрад.
Погас мой свет, и тьмою дух объят
Так, солнце скрыв, луна вершит затмение,
И в горьком, роковом оцепененье
Я в смерть уйти от этой смерти рад.
Красавица, ты цепи сна земного
Разорвала, проснувшись в кущах рая,
Ты обрела в Творце своем покой.
И если я недаром верил в слово,
Для всех умов возвышенных святая,
Ты будешь вечной в памяти людской.

СССХХVIII

Последний день – веселых помню мало
Усталый день, как мой остатный век!
Недаром сердце – чуть согретый снег
Игралищем предчувствий мрачных стало.
Так мысль и кровь, когда нас бурей смяло,
Как в лихорадке, треплет жизни бег.
Был радостей неполных кончен век,
Но я не знал, что время бед настало.
Ее прекрасный взор – на небесах,
Сияющий здоровьем, жизнью, светом.
А мой убог – пред ним лишь дольный прах.
Но черных искр я ободрен приветом:
"Друзья! До встречи в благостных краях
Не в вашем мире горестном, а в этом!"

СССХХIX

О час, о миг последнего свиданья,

О заговор враждебных мне светил!
О верный взор, что ты в себе таил
В минуту рокового расставанья?
Я твоего не разгадал молчанья.
О, до чего я легковверен был,
Решив, что часть блаженства сохранил!
Увы! рассеял ветер упованья.
Уже тогда была предрешена
Ее судьба, а значит – и моя,
Отсюда и печаль в прекрасном взоре;
Но очи мне застлала пелена,
Не дав увидеть то, что видел я,
О большем не подозревая горе.

СССXXX

Прекрасный взор мне говорил, казалось:
"Меня ты больше не увидишь тут,
Как вдалеке твои шаги замрут,
Смотри, чтоб сердце после не терзалось".
Предчувствие, зачем ты отказалось
Поверить, что мучения грядут?
Значение прощальных тех минут
Не сразу, не тогда, потом сказало.
Ее глаза безмолвные рекли
Моим: "Друзья, которых столько лет
Мы были вожделенное зеркало,
Нас небо ждет – совсем не рано, нет!
Мы вечную свободу обрели,
А вам, несчастным, жить еще немало".

СССXXXIII

Идите к камню, жалобные строки,
Сокрывшему Любовь в ее расцвете,
Скажите ей (и с неба вам ответит,
Пусть в прахе тлеть велел ей рок жестокий),
Что листья лавра в горестном потоке
Ищу и собираю; листья эти
Последние следы ее на свете
Ведут меня и близят встречи сроки,
Что я о ней живой, о ней в могиле
Нет, о бессмертной! – повествую в муке,
Чтоб сохранить прелестный образ миру.
Скажите ей – пусть мне протянет руки
И призовет к своей небесной были
В мой смертный час, как только брошу лиру.

СССXXXIV

Коль верности награда суждена
И горе не осталось без ответа,
Я жду награды: вера ярче света
И в мир, и в Донну мной соблюдена.
Мои желанья ведает она.
Они все те же, только не примет
Лицо иль слово – ей сказали это,
Но вся душа пред ней обнажена.
Следя с небес за мной, осиротелым,
Она себя являет нежным другом,
Вздыхая обо мне со мною вместе.
И верю, что, расставшись с бранным телом,
Я снова встречу с ней и с нашим кругом
Воистину друзей Христа и чести.

СССXXXV

Средь тысяч женщин лишь одна была,
Мне сердце поразившая незримо.
Лишь с облаком благого серафима
Она сравниться красотой могла.
Ее влекли небесные дела,
Вся суета земли скользила мимо.
Огнем и хладом тягостно палима,
Моя душа простерла к ней крыла.
Но тщетно – плоть меня обременяла;
Навеки Донну небеса призвали,
И ныне холод мне сжимает грудь:
Глаза – ее живой души зеркала,
О, для чего Владычица Печали
Сквозь вас нашла свой беспощадный путь?

СССXXXVI

Я мыслию лелею непрестанной
Ее, чью тень отнять бессильна Лета,
И вижу вновь ее в красе расцвета,
Родной звезды восходом осиянной.
Как в первый день, душою обаянной
Ловлю в чертах застенчивость привета.
"Она жива, – кричу, – как в оны лета!"
И дара слов молю из уст желанной.
Порой молчит, порою... Сердцу дорог
Такой восторг!.. А после, как от хмеля
Очнувшийся, скажу: "Знай, обманула
Тебя мечта! В тысяча триста сорок
Осьмом году, в час первый, в день апреля
Шестый – меж нас блаженная уснула".

СССXXXVII

Мой лавр любимый, ты, с кем не сравнится
Благоуханной роскошью восток
И кем вчера по праву запад мог
Как редкой драгоценностью гордиться,
Любовь – твоя великая должница:
Красы и добродетели чертог,
Ты властно моего владыку влек
Под сенью благородной опуститься.
Тебя избрав навеки для гнезда
Высоких дум, – пылая, трепеща,
Я счастлив был, я в жизни знал блаженство.
Был мир тобою полон, и тогда,
Стократ украсить небеса ища,
Господь прибрал тебя, о совершенство!

СССXXXVIII

Ты погасила, Смерть, мое светило,
Увял нездешней красоты цветок,
Обезоружен, слеп лихой стрелок,
Я тягостен себе, мне все постыло.
Честь изгнала, Добро ты потопила,
Скорблю один, хоть всех постигнул рок.
Растоптан целомудрия росток,
И что, какая мне поможет сила?
Мир пуст и дик. Земля и Небеса
Осиротевший род людской оплачут
Луг без цветов, без яхонта кольцо.
Кто понимал, что в ней – земли краса?
Лишь я один да Небеса, что прячут
От нас ее прекрасное лицо.

СССXXXIX

С тех пор как небо мне глаза раскрыло
И подняли меня Амур и знанье,
Я видел сам, как в смертное созданье
Свой блеск вливало каждое светило.
Иные мне, бессмертные явило
Высокие обличья мирозданье,
Которых ни земное созерцанье,
Ни робкое сознание не вместило.
Вот почему для той, что ныне Бога
Ко мне склоняет, все мои писанья
Из бездны бездн добыли так немного:
Перо не обгоняет дарованья,
И человек, чье зрение убого,

На солнце глядя, выпит лишь сиянье.

СССXL

Мой драгоценный, нежный мой оплот,
Который скрыла от меня могила
И благосклонно небо приютило,
Приди к тому, кто сострадания ждет.
Ты посещала сны мои, но вот
Меня и этой радости лишила.
Какая останавливает сила
Тебя? Ведь гнев на небе не живет,
Что пищу на земле в чужих мученьях
И сердцу добром несет подчас,
Тесня Амура в собственных владеньях.
Ты зришь меня, ты внемлешь скорбный глас,
Утешь – не наяву, так в сновиденьях,
Сойди ко мне, сойди еще хоть раз.

СССXLI

Чья доброта на небо вознесла
Мою печаль и мой укор судьбине,
Чтобы моя владычица поныне
Являться мне во всей красе могла,
Исполнена душевного тепла
И кротости, чужда былой гордыни?
И, обретая силы в благостыне,
Я вновь живу – и жизнь моя светла.
Блаженна та, кто благодать льет в другого
Доступными лишь им – ему и ей
Видением и тайным смыслом слова.
Я слышу: "Верный мой, не сожалей
О том, что я была с тобой сурова",
И меркнет солнце от таких речей.

СССXLII

Питаю сердце тем, чего довольно
От господина моего имею.
Зальюсь слезами, вздрогнув, побледнею,
Так от глубокой раны сердцу больно.
Но часто мне, простертому безвольно,
Является она. Нет схожих с нею!
И у моей постели – я не смею
Взглянуть! – она садится, сердобольна.
Лицом горячим чувствую прохладу
Руки, которой сердце так желало,
И речь ее приносит мне отраду:

– Не плачь по мне. Ужель ты плакал мало?
С отчаяньем и знанью нету сладу.
Будь жив и ты, как я не умирала.

СССXLIII

Ни взгляда, ни лица, ни золотого
Сиянья головы ее склоненной.
Из уст ее, на небо вознесенной,
Никто не слышит ангельского слова.
Как я живу? – я удивляюсь снова.
Да я б и не жил, если б истомленной
Душе ниспослан не бывал Мадонной
Свиданья миг средь сумрака земного.
И как она внимательна при этом
К словам того, чьи муки так жестоки,
Под утро приходя к нему с приветом.
Когда же день забрезжит на востоке,
Она уходит, вспугнутая светом,
И влажны у нее глаза и щеки.

СССXLIV

Быть может, сладкой радостью когда-то
Была любовь,4 хоть не скажу когда;
Теперь, увы! она – моя беда,
Теперь я знаю, чем она чревата.
Подлунной гордость, та, чье имя свято,
Кто ныне там, где свет царит всегда,
Мне краткий мир дарила иногда,
Но это – в прошлом. Вот она, расплата!
Смерть унесла мои отрады прочь,
И даже дума о душе на воле
Бессильна горю моему помочь.
Я плакал, но и пел. Не знает боле
Мой стих разнообразья: день и ночь
В Глазах и на устах – лишь знаки боли.

СССXLV

Любовь и скорбь – двойная эта сила
Толкнула мой язык на ложный путь:
Сказать о милой то, что, правдой будь,
Кошунством бы невероятным было!
В том, что безмерных мук не облегчила,
Что утешеньем не согрела грудь,
Блаженную жестоко упрекнуть,
Чья плоть навеки хладным сном почила!
Слезам предел стараюсь положить...

Да будет в этот ад пред ней дорога
Закрыта! Жажду умереть и жить.
Она прекрасней, чем была, намного
И рада в сонме ангелов кружить
У ног всемилостивейшего Бога.

CCCXLVI

Когда она почила в Боге, встретил
Лик ангелов и душ блаженных лик
Идущую в небесный Град; и клик
Ликующий желанную приветил.
И каждый дух красу ее приметил
И вопрошал, дивясь: "Ужель то лик
Паломницы земной? Как блеск велик
Ее венца! Как лен одежды светел!.."
Обретшая одну из лучших доль,
С гостиницей расставшаяся бренной,
Оглянется порою на юдоль
И, мнится, ждет меня в приют священный.
За ней стремлю всю мысль, всю мощь, всю боль...
"Спеши!" – торопит шепот сокровенный.

CCCXLVII

О Госпожа, с началом всех начал
Над нами ныне сущая по праву.
Там, в небесах, твою земную славу
Не пурпур и не жемчуг увенчал.
Я редкостнее чуда не встречал,
И, Бог свидетель, не одну оправу
Я так любил, яо и уму и нраву
Я слезы и чернила расточал.
С небесной высоты тебе заметней,
Что одного я жажду неизменно:
Всегда встречать лучи прекрасных глаз.
Для примиренья распри многолетней
С отринутой ради тебя вселенной
МОЛИ, чтоб я скорее был у вас.

CCCXLVIII

От облика, от самых ясных глаз,
Которые когда-либо блистали,
От кос, перед которыми едва ли
Блеск золота и солнца не угас,
От рук ее, которые не раз
Строптивейших Амуру покоряли,
От легких стоп – они цветов не мяли,

От смеха – с ним гармония слилась,
Я черпал жизнь у той, с кем ныне милость
Царя небес и вестников его.
А я стал наг, и все вокруг затмилось.
И утешенья жажду одного:
Чтоб, мысль мою прозрев, она добилась
Мне с нею быть – для счастья моего.

CCCXLIX

Я поминутно, мнится мне, внемлю
Послу Мадонны; шлет его, взывая;
И вот – во мне, вокруг – вся жизнь – иная,
А годы столь смирили мысль мою,
Что сам себя едва я узнаю,
Все издавна привычное меняя,
Срок был бы счастлив знать, но роковая
Грань, чую, близко: я уж на краю.
О день блажен, когда тюрьму земную
Покину, свой покров раздранный сброшу,
Тяжелый, углый, смертный; воспарю
И, в черной тьме покинув жизни ношу,
Такой чистейшей выси возревную,
Что я Творца и Донну там узрю.

CCCL

Богатство наше, хрупкое как сон,
Которое зовется красотою,
До наших дней с такою полнотою
Ни в ком не воплощалось, убежден.
Природа свой нарушила закон
И оказалась для других екупою.
(Да буду я с моею прямою
Красавицами прочими прощен!)
Подлунная такой красы не знала,
И к ней не сразу пригляделись в мире,
Погрызшем в бесконечной суете.
Она недолго на земле сияла
И ныне мне, слепцу, открылась шире,
На радость незакатной красоте.

CCCLI

Суровость неги, мягкость отклоненья,
Вся – чистая любовь и состраданье,
Изящна и в презренье, – страсть; пыланье
Во мне умерить мнила, нет сомненья;
Речей ее светились выраженья

Достоинством и тонкостью – вниманье;
Цвет чистый, ключ красы, что в обаянье
Все низкие смывает помышленья;
Взор неземной, творящий персть блаженной,
То гордый, весь – запрет надежд и пыла,
То быстрый, мощь дарящий жизни бренной;
В чудесных этих измененьях было
Мне явлено, где корень неизменный
Спасенья, в коем иссякала сила.

СССЛII

Блаженный дух, ко мне, средь дум своих,
Склонявший взор, светлей, чем луч небесный,
Давая жизнь словам и вздохам песней
(Моя душа не забывает их),
Проходишь ты в видениях моих
Среди фиалок, рощицей прелестной,
Не женщина, но ангел бестелесный,
В своем сиянье сладостен и тих.
К Зиждителю ты возвратилась вновь,
Отдав земле прелестнейшее тело,
Твоя судьба в том мире высока.
Но за тобой ушла с земли Любовь
И Чистота, – и Солнце потускнело,
И Смерть впервые стала нам сладка.

СССЛIII

Пичужка, ты поешь ли, улетаю,
Или оплакиваешь то, что было,
Зимы и ночи близкой ждешь уныло,
Минувшей неги пору вспоминая;
Ты, как свои живые муки зная
Все, что меня не меньше истомило,
На грудь бы к безутешному склонила
Полет, с несчастным горестно стенаю.
Не ведаю, равны ли мы в потере;
Оплакиваешь, мнится, ты живую;
Мне ж смерть и небо, жадны в равной мере,
Ввек уделили ночь и зиму, злую,
И вот с тобой в одной тоске и вере
О сладостных и горьких днях горюю.

СССЛIV

Амур, благое дело соверши,
Услышь меня – и лире дай усталой
О той поведать, кто бессмертной стала,

На помощь бедной музе поспеши.
Уверенность моим строкам внуши,
Чтоб в каждой правда восторжествовала:
Мадонна равных на земле не знала
Ни в красоте, ни в чистоте души.
Он: "Дело не из легких, скажем прямо.
В ней было все, что любо небесам,
И ею горд не даром был всегда я.
Такой красоты от первых дней Адама
Не видел мир, и если плачу сам,
То и тебе скажу – пиши, рыдая".

CCCLV

О время, ты в стремительном полете
Доверчивым приносишь столько зла!
О быстрые – быстрее, чем Стрела,
Я знаю, дни, как вы жестоко лжете!
Но я не вас виню в конечном счете:
Природа вам расправила крыла,
А мне глаза, несчастному, дала,
И мой позор и мука – в их просчете.
Надежный берег есть – к нему привлечь
Давно пора вниманье их, тем боле
Что вечных бед иначе не пресечь
Амур, не ига твоего, но боли
Душа моя бежит: о том и речь,
Что добродетель – это сила воли.

CCCLVI

В мой угол аура веет – и впиваю
Священную, и в сновиденье смею
Делиться с нею всей бедой моею,
Как пред живой, бывало, не дерзаю.
Со взгляда нежного я начинаю,
Мне памятного мукой долгой всею;
Потом – как, рад и жалок, полон ею,
За часом час и день за днем страдаю.
Она молчит; от жалости бледнея,
Мне в очи смотрит и вздохнет порою
И лик слезою чистой украшает.
Моя душа, терзаясь и боля,
Себя корит и плачет над собою
И, пробудясь, сознание обретает.

CCCLVII

Мне каждый день – длинней тысячелетий

Без той, кого на землю не вернуть,
Кто и сейчас мне указывает путь
В иную жизнь из этой тесной клетки.
Не в силах мира суетного сети
Меня поймать – я знаю мира суть!
Я должен годы долгие тянуть
И черпать силы в лучезарном свете.
К чему страшиться смерти? Ведь Господь
На муку и на гибель шел смиренно,
Терпел, в ничтожество ввергая плоть;
Ведь смерть, оледенив Мадонне вены,
Величья не посмела побороть,
И светлый лик сиял без перемены.

CCCLVIII

От смерти горьким сладкий лик не стал,
Но смерть пред сладким ликом стала сладкой.
Могу ли длить мгновенья жизни краткой,
Коль шаг любимой путь мне указал?
И тот, кто наших праотцев подъял
Из преисподней, на злодейства падкой,
Благою смерть явил, не супостаткой.
Приблизься, смерть! Тебя давно я ждал.
Не медли, смерть! Тебя я вождеую.
Пусть мой не пробил час – я был обязан
Уйти в тот миг, когда она ушла.
С тех пор и дня без мук я жить не смею
Я с нею в жизни, с нею в смерти связан,
И день мой смерть Мадонны прервала.

CCCLXI

Глас моего твердит мне отраженья,
Что дух устал, что изменилось тело,
Что сила, как и ловкость, ослабела:
Исчез обман: старик ты, нет сомненья.
Природа требует повиненья,
Бороться ль? – время силу одолело
Быстрее воды, гасящей пламень смело;
За долгим тяжким сном – час пробужденья.
Мне ясно: улетает жизнь людская,
Что только раз дана, свежа и здрава.
А в глуби сердца речь внятна живая
Той, что, теперь вне смертного состава,
Жила, единственная, столь сияя,
Что, мнится, всех других померкла слава.

CCCLXII

На крыльях мысли возношусь – и что же:
Нет-нет и к тем себя почти причту,
Кто обрели, покинув суету,
Сокровище, что всех земных дороже.
Порою стынет сердце в сладкой дрожи,
Когда уверен я, что слышу ту,
О ком скорблю: "Люблю тебя и чту,
Ты внутренне другой и внешне – тоже".
Меня к владыке своему она
Ведет, и я молю позволить впредь
Мне оба лика зреть – ее и Бога.
В ответ: "Твоя судьба предрешена.
Лет двадцать – тридцать нужно потерпеть.
Не падай духом – разве это много!"

CCCLXIII

Смерть погасила солнце. Легче глазу
От стрел слепящих отдыхать впотьмах.
Кто жгла и леденила – стала прах.
Увял мой лавр, оставив место вязу.
Есть в этом боль и облегченье сразу:
Сегодня мысли дерзкие и страх
Мне чужды, и росток надежд зачах,
И скорбь не полнит сердца до отказа.
Ни ран, ни исцеленья нет ему,
И я опять свободою владею
И сладостной и горькой, и к тому,
Кто небо движет бровию своею,
Я возвращаюсь – к Богу моему,
Устав от жизни, но не сытый ею.

CCCLXIV

Лет трижды семь повинен был гореть я,
Амуров раб, ликуя на костре.
Она ушла – я дух вознес горе.
Продлится ль плач за грань десятилетия?
Страстей меня опутавшую сеть я
Влачить устал. Подумать о добре
Давно пора. Твоей, Господь, заре
Я старости вручаю перволюетья!
Зачем я жил? На что растратил дни?
Бежал ли я змеи греха ужасной?
Искал ли я Тебя? Но помяни
К Тебе мой вопль из сей темницы страстной,
Где Ты меня замкнул, и чрез огни
Введи в Свой рай тропую безопасной!

В слезах былые времена клянусь,
 Когда созданы брэнному, беспечный,
 Я поклоняться мог и жар сердечный
 Мешал полет направить в вышину.
 Ты, видящий паденья глубину,
 Царю небес, невидимый Предвечный,
 Спаси мой дух заблудший и увечный,
 Дай милосердно искупить вину,
 С тем чтобы если я предела войнам
 Не видел в тщетном вихре бытия,
 Хотя бы сделать мой уход пристойным.
 Да увенчает доброта Твоя
 Остаток дней моих концом достойным!
 Лишь на Тебя и уповаю я.

ИЗБРАННЫЕ КАНЦОНЫ, СЕКСТИНЫ, БАЛЛАДЫ И МАДРИГАЛЫ

Перевод Е. Солоновича

XI

Ни вечерами, ни в полдневный час
 С тех пор, как вы однажды
 Проникли в тайну негасимой жажды,
 Я без фаты уже не видел вас.
 Покуда, госпожа, вы знать не знали,
 Что сердце тайной к вам исходит страстью,
 Лицо светилось ваше добротой,
 Но выдал бог любви меня, к несчастью,
 И тотчас вы, предав меня опале,
 Надменно взгляд сокрыли под фатой.
 И то, из-за чего я сам не свой,
 Я потерял при этом:
 Нет больше солнца ни зимой, ни летом,
 И я умру, не видя ваших глаз.

XIV

Когда стремлю тебя, несчастный взгляд,
 На ту, кто красотой тебя убила,
 Я б не вздыхал уныло,
 Но испытаний дни тебе грозят.
 Душевным думам только смерть вольна
 Закрывать дорогу в порт благословенный,
 Тогда как, очи бедные, у вас
 Отраду вашу, свет, для вас священный,
 Отнять способна меньшая вина,

Ведь вы слабее дум во много раз.
Поэтому, пока не пробил час
Для слез, – а он уж близок, час разлуки,
В преддверье долгой муки
Ловите миг настойчивей стократ.

XXII

Когда приходит новый день на землю,
Иную тварь отпугивает солнце,
Но большинство не спит в дневную пору;
Когда же вечер зажигает звезды,
Кто в дом спешит, а кто – укрыться в чаще,
Чтоб отдохнуть хотя бы до рассвета.
А я, как наступает час рассвета,
Что гонит тень, окутавшую землю,
И сонных тварей поднимает в чаще,
Со вздохами не расстаюсь при солнце,
И плачу, увидав на небе звезды,
И жду с надеждой утреннюю пору.
Когда сменяет ночь дневную пору
И всходят для других лучи рассвета,
Я на жестокие взираю звезды
И плоть кляню – чувствительную землю,
И первый день, когда увидел солнце,
И выгляжу, как будто вскормлен в чаще.
Едва ли зверь безжалостнее в чаще
В ночную ли, в дневную рыщет пору,
Чем та, что красотой затмила солнце.
Вдыхая днем и плача до рассвета,
Я знаю, что глядящие на землю
Любовь мою определили звезды.
Пока я к вам не возвратился, звезды,
Иль не нашел приют в любовной чаще,
Покинув тело – прах ничтожный, землю,
О, если бы прервало злую пору
Блаженство от заката до рассвета,
Одна лишь ночь – пока не встанет солнце!
Я вместе с милой проводил бы солнце,
Никто бы нас не видел – только звезды,
И наша ночь не знала бы рассвета,
И, ласк моих чуждаясь, лавром в чаще
Не стала бы любимая, как в пору,
Когда спустился Аполлон на землю.
Но лягу в землю, где темно, как в чаще,
И днем, не в пору, загорятся звезды
Скорей, чем моего рассвета солнце.

XXIII

Зари моей безоблачную пору
Весну еще зеленой, робкой страсти,
Которая жестоко разрослась,
Вспомню в облегченье скорбной части
И, в незабвенных днях найдя опору,
Когда я жил, Амура сторонясь,
Поведаю о том, как, разъярясь,
Он поступил и что со мною стало.
Наука мне – наука для других!
О горестях моих
Перо – и не одно! – кричать устало,
И нет строкам безрадостным числа,
И редкий дол не помнит пеней звуки
Как не поверить, что несчастлив я?
И если память не тверда моя,
Забывчивость вполне прощают муки
И мысль, что все другие прогнала
И памяти приносит столько зла,
Всецело завладев душой моею,
А я лишь оболочкою владею.
Немало лет пришло другим на смену
С тех пор, как бог любви меня впервые
Подверг осаде: я на зрелый путь
Уже ступил, и думы ледяные
Воздвигли адамантовую стену,
Чтоб ею сердце навсегда замкнуть.
Еще слеза де обжигала грудь,
Был крепок сон, и видеть было странно
Мне в людях то, чего я сам лишен.
Но нет судьбе препон:
День – вечером, а жизнь концом венчанна.
Амур не мог себе простить того,
Что сталь стрелы лишь платье повредила,
Мне самому не причина вреда,
И даму взял в союзницы тогда,
Перед могуществом которой сила,
И хитрости не стоят ничего.
Они взялись вдвоем за одного
И превратили в лавр меня зеленый,
Для коего не страшен ветер студеный.
Какое ощутил я беспокойство,
Почувствовав, что принял облик новый,
Что в листья волосы обращены,
Которым прочил я венок лавровый,
И ноги.-потеряв былые свойства,
Душе, творящей плоть, подчинены,
В два корня превратились близ волны
Величественней, чем волна Пеня,
И руки – в ветки Лавра, – замер дух!
А белоснежный пух,
Которым я покрылся, не умея
Сдержать надежды дерзновенный взлет!

Увы! сразила молния надежду,
И я, не зная, как беде помочь,
Один, роняя слезы, день и ночь
Искал ее на берегу и между
Пустынных берегов – во мраке вод.
И с той поры уста из года в год
О жертве сокрушались безвинной,
И седина – от песни лебединой.
Так я бродил вдоль берегов любимых
И вместо речи песня раздавалась,
И новый голос милости просил:
Столь нежно петь еще не удавалось
Мне о моих страданиях нестерпимых,
Но милости я так и не вкусил.
Какую муку я в душе носил!
Однако больше, чем сказал доньине,
Сказать я должен, пусть не хватит слов,
О той, чей нрав суров,
О бесконечно милой мне врагине.
Она, в полон берущая сердца,
Мне грудь отверзнув, сердцем овладела
И молвила: "Ни слова про любовь!"
Со временем ее я встретил вновь,
Одну, в другом обличье, – и несмело
Поведал ей всю правду до конца.
И выражение ее лица
Мне было осуждением за признание,
И я поник, застыв, как изваянье.
Но столько гнева было в милом взоре,
Что, и одетый в камень, трепетал я,
Внимая: "Может быть, меня с другой
Ты спутал?" "Захоти она, – шептал я,
И я забуду, что такое горе.
Пошли мне слезы вновь, владыка мой!"
Не понимаю как, но, чуть живой,
Способность я обрел передвигаться,
Виня себя за памятный урок.
Однако краток срок,
Чтоб за желанием перу угнаться,
И из того, что в память внесено,
Я только часть не обойду вниманьем.
Такого не желаю никому:
Смерть подступила к сердцу моему,
И я не мог бороться с ней молчаньем,
Обрести в молчанье силы мудренб;
Но было говорить запрещено,
И я кричал – кричали песен строки:
"Я ваш, и, значит, вы к себе жестоки!"
Хотел я верить, что она отгадет,
Найдет, что я достоин снисхожденья,
А если так, таиться смысла нет,
Однако гнев порой бежит смиренья,

Порой в смиренье силу обретает,
И я, на все мольбы мои в ответ,
Оставлен был во тьме, утратив свет.
Нигде, нигде не видя, как ни тщился,
Ее следов, – где их во тьме найти!
Как тот, кто спит в пути,
Однажды я ничком в траву свалился.
Упрямо попрекая беглый луч,
Я перестал мешать слезам печали
И предоставил им свободный бег.
С такою быстротой не тает снег
Весной, с какою силы убывали.
Я, не найдя просвета среди туч,
Под сенью бука превратился в ключ,
Подобное бывает, как известно,
И потому сомненье неуместно.
Кто создал эту душу совершенной,
Коль скоро не Творец всего живого,
С которого она пример берет,
Всегда прощенье даровать готова
Тому, кто к ней с мольбой идет смиренной
И все свои ошибки признает.
Когда она мольбы повторной ждет,
Она и в этом подражает Богу,
Чтоб кающихся больше утешить:
Ведь клятва не грешить
Не закрывает грешную дорогу.
И госпожа, на милость гнев сменя,
До взгляда снизошла – и оценила,
Что скорбь моя моей вине равна;
И слезы осушила мне она,
И, осмелев, я вновь взмолился было,
И взор ее, несчастного казня,
Сейчас же в камень превратил меня.
Лишь голос мой, оставшийся на воле,
Мадонну звал и Смерть, исполнен боли.
Печальный голос (как забыть такое!),
Я, изнывая от любовной жажды,
В пустынных гротах плакал много дней,
И грех слезами искупил однажды
И существо свое обрел земное,
Как видно, чтоб страдать еще сильнее.
Охотником я следовал за ней,
И я нашел ее: моя дикарка,
Нагая, от меня невядалеке
Плескалась в ручейке,
Который солнце освещало ярко.
Увидя, что утешить взор могу,
Я на нее смотрел; она смутилась
И, от смущенья или же со зла,
Меня водой студеной обдала,
И тут невероятное случилось:

Я превратился – право, я не лгу,
В оленя стройного на берегу
И до сих пор мечусь от бора к бору,
Перехитрить свою бессилен свору.
Канцона, кем я не был никогда,
Так это золотым дождем, которым
Юпитер пригасил любовный пыл;
Зато я был огнем и птицей был
И на крыл ах к заоблачным просторам
Ту возносил, кого пою всегда.
От лавра не уйти мне никуда:
Мой первый лавр – досель моя отрада,
И сердцу меньших радостей не надо.

XXX

Она предстала мне под сенью лавра,
Бела, как снег, но холоднее снега,
Что солнца многие не видел лета,
И предо мной лицо ее и кудри
Везде, куда б ни обратились очи,
Какой бы домом ни избрал я берег.
Моим мечтам сужден не раньше берег,
Чем облетит убор зеленъга лавра;
Когда слезами оскудеют очи
Льдом станет пламя, вспыхнут толщи снега:
Не так обильны волосами кудри,
Как долго чуда ждать из лета в лето.
Но время мчится, быстролетны лета,
Мгновение – и вот он, скорбный берег,
И посему, черны иль белы кудри,
Я следовать готов за тенью лавра
И в летний зной, и по сугробам снега,
Пока навеки не сомкнутся очи.
Представить крате невозможно очи
Ни в наши времена, ни в оны лета;
Они, как солнце яркое для снега,
Опасны для меня; проходит берег
Любовных слез недалеко от лавра,
И я смотрю на золотые кудри.
Скорей мой лик изменится и кудри,
Чем сострадание согреет очи
Кумира, вырезанного из лавра;
Коль верен счет, седьмое нынче лето
Исполнилось, как я, утратя берег,
Вздыхаю в летний зной и в пору снега.
С огнем в груди, с лицом белее снега,
Все тот же (только поседели кудри),
Слезами орошая каждый берег,
Быть может, увлажню потомков очи
Тех, кто придет на свет в иные лета,

Коль труд в веках живет, достойный лавра.
Достойны лавра, свет живого снега,
И кудри, и пленительные очи,
В такие лета мне готовят берег.

L

В ту пору дня, когда небесный свод
Склоняется к закату, обещая
Иным, быть может, племенам рассвет,
Старушка, близкий отдых предвкушая,
Одна пустынной стороной бредет.
Устала: как-никак на склоне лет;
Но ляжет спать – и нет
Усталости с дороги,
И вечные тревоги
И горести не сдавливают грудь.
А мне печаль не даст глаза сомкнуть,
Затем что всякий раз, когда светило
Оканчивает путь,
Еще большее мне, чем утром было.
Вот-вот пылающую колею
Поглотит бездна, но лучи заката
Еще не успевают отгореть,
Как поле покидает алчный ратай
И, затянув простую песнь свою,
Лицом светлеет – любо поглядеть;
На стол ложится снедь,
Что на словах по нраву
Любому, но приправу
К словам другую предпочтет любой.
Пускай кому-то весело порой,
А мне не ведом даже миг просвета
И не знаком покой,
Куда б ни передвинулась планета.
Пастух не ждет, пока лучи сойдут,
В свое гнездо, не ждет, чтоб на востоке,
Ночь предвещая, сумерки легли:
Он покидает травы и потоки,
Гоня любовно стадо, но и прут
При этом не забыв поднять с земли;
Потом, от всех вдали,
В пещере, в шалаше ли,
Он, лежа на постели
Из веток, спит. Блажен, кто знает сон!
А я и среди ночи принужден
По голосу преследовать беглянку
Или спешить вдогон
По следу – и во тьме, и спозаранку.
Закрытую долину отыскав,
Лишь только ночь, на досках мореходы

Вповалку спят, усталости рабы.
А я, когда ныряет солнце в воды,
Испанию с Гранадой миновав,
Марокко и Геракловы столбы,
И милостью судьбы
Подарен каждый спящий,
А я, судьбу корящий,
Опять всю ночь промучусь напролет.
День ото дня любовь моя растет
И безысходной болью душу травит
Уже десятый год,
И я не знаю, кто меня избавит.
Вот я пишу и вижу за окном
Волов, освобожденных от ярма,
Что тянутся в вечерний час с полей.
А у меня из песни в песню тема
Ярма кочует. Сколько под ярмом
Еще ходить? Дождусь ли лучших дней?
Я не отвел очей
И поступил беспечно,
Когда дерзнул навечно
Прекрасный лик в груди запечатлеть,
И этот образ в сердце не стереть
Ни силе, ни уловкам, ни искусству,
Покуда умереть
Не суждено со мною вместе чувству.
Канцона, если ты
Во всем со мной согласна
И столь же безучастна
К чужой хвале, на люди не ходи
И разговор ни с кем не заводи
О том, какой необоримый пламень
Зажег в моей груди
Любимый мною бессердечный камень.

ЛII

Плескаясь в ледяных волнах, Диана
Любовника, следившего за ней,
Не так пленила наготою стана,
Как я пленен пастушкой, был моей,
Что в воду погрузила покрывало
Убор воздушных золотых кудрей:
И зной палящий не помог нисколько,
Когда любовь ознобом пронизала.

ЛIII

О благородный дух, наставник плоти,
В которой пребыванье обрела

Земная жизнь достойного синьора,
Ты обладатель славного жезла
Бича заблудших, и тебе, в расчете
Увидеть Рим спасенным от позора,
Тебе реку, грядущего опора,
Когда в других добра померкнул свет
И не тревожит совесть укоризна.
Чего ты ждешь, скажи, на что отчизна
Надеется, своих не чуя бед?
Разбудят или нет
Ленивицу? Ужель не хватит духу?
За волосы бы я встряхнул старуху!
Едва ли может голос одинокий
Поднять ее, покорную судьбе,
Под гнетом тяжким не пошевелиться!
Но не без провидения тебе,
Кто в силах этот сон прервать глубокий,
Сегодня наша вверена столица.
Не медли же: да вцепится десница
В растрепанные косы сей жены,
В грязи простертой, и заставит вежды
Открыть ее. К тебе мои надежды,
Мои глаза в слезах обращены:
Коль Марсовы сыны
Исконной вновь должны плениться славой,
То это будет под твоей державой.
Громады древних стен, благоговенье
Внушающие либо страх, когда
Былого вспоминаются картины,
Гробницы, где сокрыты навсегда
Останки тех, кого не ждет забвенье,
Какой бы срок ни минул с их кончины,
И прошлых добродетелей руины
С надеждой ныне на тебя глядят.
О верный долгу Брут, о Сципионы,
Узнав, что в Риме новые законы,
Вы станете блаженнее стократ.
И думаю, что, рад
Нежданым новостям, Фабриций скажет:
"Мой славный Рим еще себя покажет".
Когда на небе ведомы тревоги
За этот мир, за наш земной удел,
К тебе взывают души, заклиная
Гражданской розни положить предел,
Из-за которой людям нет дороги
Под своды храмов, где лихая стая
Сбирается, злодейства замышляя,
Разбойничий вертепом сделав храм:
Теперь, когда кругом не молкнут битвы,
Приносят не смиренные молитвы,
Но козни к разоренным алтарям.
О времена! О срам!

Колокола не Бога славят боем,
Колокола зовут идти разбоем.
Рыдающие женщины и дети,
Народ – от молодых до стариков,
Которым стало в этом мире дико,
Монахи, бел иль черен их покров,
Кричат тебе: "Лишь ты один на свете
Помочь нам властен. Заступись, владыко!"
Несчастный люд от мала до велика
Увечья обнажает пред тобой,
Что даже Ганнибала бы смягчили.
Пожары дом господень охватили,
Но если погасить очаг-другой
Решительной рукой,
Бесчестные погаснут притязанья,
И Бог твои благословит деянья.
Орлы и змеи, волки и медведи
Подчас колонне мраморной вредят
И тем самим себе вредят немало.
По их вине слезами застлан взгляд
Их матери, которая воззвала
К тебе, в твоей уверена победе.
Тысячелетие, как в ней не стало
Великих душ и пламенных сердец,
Прославивших ее в былое время.
О новое надменнейшее племя,
Позорящее матери венец!
Ты муж и ты отец:
Увы, не до нее отцу святому,
Что предпочел чужой родному дому.
Как правило, высокие стремленья
Находят злого недруга в судьбе,
Привыкшей палки ставить нам в колеса,
Но ныне, благосклонная к тебе,
Она достойна моего прощенья,
Хоть на меня всегда смотрела косо.
Никто себе не задавал вопроса,
Зачем она не любит открывать
При жизни людям путь к бессмертной славе.
Я верю – благороднейшей державе
Ты встать поможешь на ноги опять,
И смогут все сказать:
"Другие ей во цвете лет служили,
Он старую не уступил могиле".
На Капитолии, канцона, встретишь
Ты рыцаря, что повсеместно чтим
За преданность свою великой цели.
Ты молвишь: "Некто, знающий доселе
Тебя, синьор, лишь по делам твоим,
Просил сказать, что Рим
Тебя сквозь слезы умоляет ныне
Со всех семи холмов о благостыне".

LIV

Был знак Амура на ее челе
И сердце перед странницей смирилось:
Ей равных нет, казалось, на земле.
Я шел за нею по зеленым травам,
Как вдруг словами чаща огласилась:
"Твой путь лесной – он только мнится правым!"
Я прислонился к буку – и окрест,
Задумавшись, впервые оглянулся,
И понял всю опасность гиблых мест.
И около полудня вспять вернулся.

LV

Я был уверен, что остыли чувства,
Что выстудили годы их приют,
Однако вновь желанья душу жгут.
Остались искры, скрытые золой,
И я смиряюсь перед властью рока
И новой страстью, горячей былой.
Когда я плачу, боль не столь жестока,
Но не боятся горестного тока
Ни искры в сердце, ни коварный трут:
Как никогда доньше, пламень лют.
Зачем поверил я, что волны слез
Вольны с огнем покончить негасимым?
Вновь в жертву бог любви меня принес
Огню с водой – врагам непримиримым,
И тщетно упование – невредимым
Освободиться от любовных пут,
Когда черты прекрасные влекут.

LXVI

Промозглый воздух и густые тучи,
Послушные капризам злого ветра,
Неумолимо предвещают ливень;
Уже в кристалл почти оделись реки,
И муравы уже-не видно в долах,
И росу в иней превращает холод,
И в сердце у меня – свирепый холод,
И беспросветны думы, словно тучи,
Рожденные туманом в этих долах,
Что для любовного закрыты ветра
Горами, осеняющими реки,
Которые мутит осенний ливень.
Кончается и самый сильный ливень,

И тает снег, когда минует холод,
И, сбрасывая лед, взбухают реки;
И неизвестен случай, чтобы тучи
Не отступили под напором ветра
И чтоб туман держался вечно в долах.
Но нет отрады мне в цветущих долах,
Я плачу и в погожий день, и в ливень,
И при студенном ветре, и без ветра.
Я лишь тогда найду: не вечен холод
В груди Мадонны и во взгляде – тучи,
Когда иссохнут все моря и реки.
Пока струиться к морю будут реки
И зверю будет любо в тихих долах,
Останутся в глазах прекрасных тучи,
Которые в моих – рождают ливень,
И в ледяной груди пребудет холод,
Что превратил мою – в источник ветра.
Я каждый ветер прощаю ради ветра,
Пленившего меня в краю, где реки
Двумя границами, где чистый холод
И зелень – рядом, и во многих долах
Я лавра тень отпечатлел: ни ливень
Не страшен ей, ни гром, разверзший тучи.
Быстрее тучи не бегут от ветра,
Чем промелькнул тот день, ни реки в ливень,
И дольше медлит холод в вешних долах.

LXX

На что еще осталось уповать,
Когда я столько раз уже обманут?
Зачем, когда жалеть тебя не станут,
В мольбах напрасных руки воздевать?
Но если не до гроба изливать
Мне жалобы смиренно,
Я, преклонив колена,
Молю, Амур, меня не прерывать,
Когда произнесу – быть может, вскоре:
"Drez et rayson es qu'ieu ciant e'm demori".¹
Я вправе петь, хотя упущен срок,
Я так давно вздыхаю, что едва ли
Уравновесит смех мои печали.
О, если бы при виде нежных строк
Священный взор нашел приятным слог,
Я после стольких пеней
Всех любящих блаженней
Воистину себя считать бы мог!
Тем паче, если б мог сказать свободно:
"Пою, – ведь это госпоже угодно".
Блуждающие мысли, что в пути,
Высоком столь, питали тщетный пламень

Моих надежд, смотрите, сердце – камень
У госпожи, в него мне не войти.
И наше с вами слово не в чести
У ней, в одном повинной
В согласии с судьбиной,
С которою устал я спор вести,
И так же, как судьба ко мне сурова,
Хочу, чтобы суровым было слово.
Однако что я? Где я? Кто мне лжет?
Не я ли сам, томимый злым недугом?
Хоть обойду все небо круг за кругом,
Мне ни одна планета слез не шлет.
Когда от плоти слепота идет,
Зачем винить светила
Иль то, что взору мило?
При мне виновник всех моих невзгод
С тех пор, как предо мною дни и ночи
Прекрасный лик и сладостные очи.
Хорошим вышло из всемогущих рук
Все, чем от века красен мир, но око
Мое не пронизает столь глубоко,
В плену красы, которая вокруг.
И встречи мимолетнее разлук
С непреходящим светом,
Мой взор повинен в этом,
Не день, когда преобразила вдруг
Небесная краса, явившись взору,
Зари моей безоблачную пору.

*1 Я вправе петь и веселиться, у меня для этого есть все основания
(старопровансальск.)*

LXXX

Кто предпочел другим дорогам в жизни
Дорогу волн, в которых скрыты рифы,
Хранимый только стенками скорлупки,
Того и чудо не спасет от смерти,
И лучше бы ему вернуться в гавань,
Пока его рукам послушен парус.
Я нежному дыханью руль и парус
Доверил, полюбив впервые в жизни
И лучшую найти надеясь гавань,
Но вскоре путь мне преградили рифы,
И не вокруг меня причина смерти
Бесславной крылась, но в самой скорлупке.
Надолго заключен в слепой скорлупке,
Я плыл, не поднимая глаз на парус,
Что увлекал меня до срока к смерти.
Однако Тот, кто приобщает жизни,
Успел меня предупредить про рифы,

Дав – издали хотя бы – узреть гавань.
Огни, что ночью призывают в гавань,
Путь указуют судну и скорлупке
Туда, где штормы не страшны и рифы
Так я, подняв глаза на вздутый парус,
Над ним увидел знаки вечной жизни
И в первый раз не испугался смерти.
Не потому, что верю в близость смерти
При свете дня хочу войти я в гавань,
Куда ведет дорога долгой жизни,
К тому же не уверен я в скорлупке,
И ветра не выдерживает парус,
Увлечшего меня на эти рифы.
Когда бы гибель не таили рифы
И не искал бы я спасенья в смерти,
Я повернул бы с наслажденьем парус
И где-нибудь обрел благу гавань.
Но я горю под стать сухой скорлупке,
Не в силах изменить привычной жизни
Ты, без кого ни смерти нет, ни жизни!
Скорлупке углой угрожают рифы,
Направь же в гавань изможденный парус.

CVI

На легких крыльях чудо-ангелица
На берег опустилася зеленый,
Где я ступал, своей судьбой влеком.
Кто мог предвидеть, что в тот день случится?
Силок, из нитей шелковых сплетенный,
Она в траве поставила тайком.
Избави Бог меня жалеть об этом:
Столь нежным взор ее светился светом.

CXXI

Смотри, Амур, красавица младая
Тебя не чтит и мучает меня,
Меж двух огней спокойствие храня.
Ты – с луком, а она – без лат, босая,
Стоит в траве высокой, далека
От жалости ко мне, с тобой дерзка.
Я – пленник, но когда твоя рука
И лук опорой остаются чести,
Мой государь, изведай радость мести.

CXXV

Когда бы удалось

Моей упорной страсти
Одеться в соответствующий цвет,
Огонь бы довелось,
Надеюсь, хоть отчасти
И той узнать, что холодна в ответ;
И реже бы мой след
Встречался одинокий
На холмах и в полях
И реже бы в глазах
Блестели слезы, если бы жестокий
Воспламенился лед
Причина всех невзгод.
Увы, Амур перу
И разуму препоной,
И песни терпки – и хожу понур.
Но, глядя на кору
Иль на листок зеленый,
Судить о древе – смело чересчур.
Пусть в сердце мне Амур
Глазами той заглянет,
Чей взор меня сразил:
Сердечный горький пыл,
Излившись, плачем, жалобами станет,
И тон моих обид
Другого оскорбит.
Где сладость пылких строк,
Рождавшихся вначале?
Где грация? Где радостный подъем?
Кто б это сердце мог,
Вместилище печали,
Постичь, раскрыв, и выразить резцом?
Черты Мадонны в нем
Любовь воспроизводит
И говорит о ней
И ярче и сильнее,
Чем, к сожаленью, у меня выходит
Без помощи былой.
О рок! О жребий злой!
Подобно малышу,
Что речью не владеет,
Но хочет говорить, нетерпелив,
Я говорить спешу
В надежде, что успеет
Мадонна вздохам внять, пока я жив.
Коль радости прилив
Лишь собственные властны
Ей даровать черты,
Зеленый брег, хоть ты
Услышь: ужель мечты о том напрасны,
Чтоб над тобой плыла
Всегда моя хвала?
Прекраснее стопа

На землю не ступала,
Чем та, что освятила твой покров,
И дум моих толпа
Тебя облюбовала,
И телом я спешить сюда готов.
Когда бы меж цветов
Прекрасный след остался
И среди этих трав,
Чтоб, чувствам выход дав,
Я в поисках напрасных не метался,
Где нынче наугад
Влюбленный бродит взгляд!
Чудесный уголок,
Как все для взора мило
Здесь, где, бывало, луч блуждал живой!
Цветок, склонясь, сорву
И думаю – взрастила
Его земля, где грежу наяву:
Здесь, над рекой, траву
Она примяла, сидя,
Вот здесь прошла она.
И точность не важна:
Я все найду, воочию не видя.
Стократ блаженней тот,
Кто нам блаженство шлет.
Как ты груба, лесная песнь моя!
Для твоего же блага
Останься здесь, бедняга.

CXXVI

Прохладных волн кристалл,
Манящих освежиться
Ту, кто других прекрасней несказанно;
Ветвистый дуб, что звал
Ее облокотиться,
Опора восхитительного стана;
Цветущая поляна,
Где ангельская грудь
Лежала; воздух чистый,
Где взор явил лучистый
Мне бог любви, чтоб сердце отомкнуть,
Склоните слух прилежный
В последний раз к словам печали нежной.
Коль смерть моя близка
И небеса решили,
Что скоро вежды мне Амур закроет,
Пусть добрая рука
Близ вас придаст могиле
Мой прах – и небо душу упокоит
Судьбина козни строит,

Но смерть не так страшна,
Коль в смутный час распутья
Едва ли упрекнуть я
Сумею душу, веря, что она,
Дабы покинуть тело,
Спокойнее бы не нашла предела
Придет, быть может, час,
Когда в приют священный
Тиран вернется, добрый и прекрасный,
И где, по счастью, нас
Тот день застиг блаженный,
Взор омрачится ясный,
Найдя лишь прах безгласный
Среди камней, и тут
Амур ее наставит
Вздыхать по мне заставит,
И небеса к страдальцу снизойдут
При виде покрывала,
Что слезы безутешные впитало
Прелестные цветы
Ей на колени, томной,
Серебряным дождем с ветвей струились
Средь этой красоты
Она сидела скромно:
Цветы любовным нимбом серебрились,
На лоно ей ложились,
Блестели в волосах
И, сочетаясь с ними,
Казались золотыми.
И на траве – цветы, и на волнах,
И, рея величаво,
Цветы шептали: "Здесь Любви держава"
Я повторял не раз
В восторге исступленья:
"Она, конечно, порожденье рая!"
Лицо, сиянье глаз,
Небесные движенья,
И мелодичный смех, и речь живая,
От правды отдаляя,
Добились, что забыл
Я истину от счастья:
Как мог сюда попасть я?
Ведь я на небе, мне казалось, был.
И нет с тех пор на свете
Мест для меня спокойнее, чем эти.
Когда бы нарядилась ты, как хочешь,
Тебя бы, песнь моя,
В дуброве от людей не прятал я. сxxvп
Куда меня торопит бог любви,
Я должен строки скорбные направить
И дань Амуру принести сполна.
С чего начать? Что под конец оставить?

Попробуй все как есть восстанови.
Но повесть будет в точности верна
Тому, как в сердце запечатлена
Его нетерпеливою рукою.
Предел на время вздохам положу,
О муках расскажу
Моих – и боль немного успокою.
Куда ни погляжу,
Что ни увижу – сразу позабуду:
Она одна передо мной повсюду.
От моего сокровища вдали
Томиться должен я по воле рока,
Но я воспоминаньями живу,
А если так, душа не одинока.
Когда весна – владычица Земли
И мир рядится в первую траву,
Я мысленно, как прежде – наяву,
Красавицы молодой подвластен чарам.
Когда же солнце греет горячей,
Огонь его лучей
Могу ли не сравнить с любовным жаром?
Но вот осенних дней
Пришел черед – она предстала взору
Уже вступившей в совершенства пору.
Фиалками любясь каждый раз
И глядя на раскрывшиеся почки,
Когда уходит холод со двора,
Что вижу я? – фиалки и листочки,
Оружие Амура в грозный час;
Мне видится весенняя кора,
Что кутала заботливо вчера
Девичье тело – местопребыванье
Души высокой ныне. Как я рад,
Что всех других услад
Превыше для меня напоминанье
О том, как юный взгляд
Она пленила – кроткий мой мучитель
И вместе с тем единственный целитель!
Когда янтарным солнцем снег облит,
Холмы вдали, одетые снегами,
Мне лик напоминают неземной,
Что полнит очи сладкими слезами
Издалека, а рядом он слепит
И побеждает сердце красотой.
Под золотом, под снежной белизной
Я вижу то, чего другой не может
Увидеть, – то, что я один открыл,
И негасимый пыл
В моей груди ее улыбка множит,
И нет на свете сил,
Способных пламя уничтожить это,
Что не боится ни зимы, ни лета.

Когда ночная отшумит гроза
И в воздухе морозном засверкают
Планеты, проступив из темноты,
Отрадой бесконечной возникают
Передо мной прелестные глаза.
Они глядят, как звезды с высоты,
Как в первый день любви из-под фаты
В слезах смотрели умиротворенно.
Когда над миром новый день встает,
Мне чудится восход
Сияньем глаз: когда же с небосклона
Светило дня уйдет,
Мне кажется, что отвернулись очи
Прекрасные – и я во власти ночи.
При виде белых и пунцовых роз,
Стоящих рядом в золотом кувшине,
Моим мечтам является она,
Кому не знаю равных я поныне:
И тот же золотой отлив волос,
И шеи грациозной белизна,
Что с молоком бояться не должна
Сравнения, и тот же пламень нежный,
Который так идет ее щекам.
Когда порыв цветам
Передает в лугах зефир прибрежный,
Я как бы снова там,
Где некогда увидел я впервые,
Как ветер гладил кудри золотые
Задумал я на небе звезды счесть,
Должно быть, или все на свете воды
В одном сосуде захотел собрать,
Решив, что все явления природы,
Которым я оказываю честь
Сравнением с милой, я смогу назвать
На всем вокруг лежит ее печать,
И если мне и хочется порою
От наважденья этого уйти,
Я знаю – все пути
К спасению закрыты предо мною,
И не произнести
Пусть к счастью для меня, пускай к несчастью
Мне имени другого с той же страстью.
Ты знаешь, песня, что мои слова
Не могут передать и сотой доли
Того, что сердцу чувствовать дано:
Лишь думам суждено
Ослабить чувство нестерпимой боли
Уже давным-давно
Разлука бы свела меня в могилу,
Когда бы в грезах я не черпал силу

СХХVІІІ

Италия моя, судьбе коварной
Мирской не страшен суд.
Ты при смерти. Слова плохой целитель.
Но я надеюсь, не молчанья ждут
На Тибре и на Арно
И здесь, на По, где днесь моя обитель.
Прошу тебя, Спаситель,
На землю взор участливый склони
И над священной смилуйся странюю,
Охваченной резнёю
Без всяких оснований для резни.
В сердцах искорени
Жестокое начало
И вечной истине отверзни их,
Позволив, чтоб звучала
Она из недостойных уст моих.
Помилуйте, случайные владельцы
Измученных земель,
Что делают в краю волшебном своры
Вооруженных варваров? Ужель
Должны решать пришельцы
В кровопролитных битвах ваши споры?
Вы ищите опоры
В продажном сердце, но велик ли прок
В любви, подогреваемой деньгами:
Чем больше рать за вами,
Тем больше оснований для тревог.
О бешеный поток,
В какой стране пустынной
Родился ты, чтоб наши нивы смять?
Когда всему причиной
Мы сами, кто тебя направит вспять?
Чтоб нам тевтоны угрожать не смели,
Природа возвела
Спасительные Альпы, но слепая
Корысть со временем свое взяла,
И на здоровом теле
Гноеточит лишай, не заживая.
Сегодня волчья стая
В одном загоне с овцами живет.
И кто страдает? Тот, кто безобидней,
И это тем постыдней,
Что нечисть эту породил народ,
Которому живот
Вспорол бесстрашный Марий,
Не ведавший усталости, пока
От крови подлых тварей
Соленою не сделалась река.
Не стану здесь перечислять победы,
Которые не раз

Над ними Цезарь праздновал когда-то.
Кого благодарить, когда не вас,
За нынешние беды,
За то, что неумной жаждой злата
Отечество разъято
И пришлый меч гуляет по стране!
По чьей вине и по какому праву
Чините вы расправу
Над ближним, наживаясь на войне,
И кличете извне
Людей, готовых кровью
Расходы ваши оправдать сполна?
Не из любви к злословью
Глаголю я, – мне истина важна.
На хитрого баварца положиться
И после всех измен
Не раскусить предателя в~наймите!
Едва опасность, он сдается в плен,
И ваша кровь струится
Обильней в каждом из кровопролитий.
С раздумий день начните
И сами убедитесь, до чего
Губительное вы несете бремя.
Латинян славных племя,
Гони пришельцев всех до одного,
Оспорив торжество
Отсталого народа.
Коль скоро он сильнее нас умом,
То вовсе не природа,
Но мы, и только мы, повинны в том.
Где я родился, где я вырос, если
Не в этой стороне?
Не в этом ли гнезде меня вскормили?
Какой предел на свете ближе мне,
Чем этот край? Не здесь ли
Починут старики мои в могиле?
Дай Бог, чтоб исходили
Из этой мысли вы! Смотрите, как
Несчастный люд под вашей властью страждет:
Он состраданья жаждет
От неба и от вас. Подайте знак
И тут же свет на мрак
Оружие поднимет,
И кратким будет бой на этот раз,
Затем что не отнимет
Никто исконной доблести у нас.
Влады-ки, не надейтесь на отсрочку,
У смерти свой расчет,
И время не остановить в полете:
Вы нынче здесь, но знайте наперед,
Что душам в одиночку
Держать ответ на страшном повороте.

Пока вы здесь бредете,
Сумейте зло в себе преодолеть,
Благому ветру паруса подставив
И помыслы направив
Не на бесчинства, а на то, чтоб впредь
В деяниях греметь
Ума иль рук. Иначе
На этом свете вам не обрести
Блаженства, и тем паче
На небо вам заказаны пути.
Послание мое,
Стой на своем, не повышая тона,
Поскольку к людям ты обращено,
Которые давно
От правды отвернулись оскорбленно.
Зато тебя, канцона,
Приветят дружно те,
Что о добре пекутся к чести мира.
Так будь на высоте,
Иди, взывая: "Мира! Мира! Мира!"

CXXIX

От мысли к мысли, от горы к другой
Амур меня ведет путем неторным,
Тропинки стороною обходя:
Смятенная душа найдет покой,
Пустынный берег над ручьем проворным
Или тенистый дол в пути найдя,
Где, волею вождя,
То радостна она, то вдруг заплачет
И лик меняет мой, отобразив
На нем любой порыв,
Как будто бы под маской маску прячет;
И скажет, кто не меньше пролил слез:
"Он любит. Но любим ли? – вот вопрос".
Для глаз моих угла жилого вид
Смертельный враг. Меня дубрава манит,
На высях горных отдых нахожу.
Иду – и мысль на месте не стоит,
И грусть нередко радостью предстанет,
С которою смотрю на госпожу.
Недаром дорожу
Я этой сладкой, этой горькой частью
И говорю в душе: желанный срок,
Быть может, недалек,
JKLorfla ты не наладуешься счастьем.
От этой мысли к новой – ровно шаг:
Ужели правда? Но когда? Но как?
Остановясь порой в тени холма
Иль под сосной и выбрав наудачу

Скалы обломок, я на нем пишу
Прекрасный лик. Когда же от письма
Вернусь к себе, замечу вдруг, что плачу,
И – "Как ты мог расстаться с ней?" – спрошу.
Пускай, когда спешу
Утешить мысль теплом ее улыбки,
Я забываю о себе самом,
Любовию влеком,
Душа в восторге от такой ошибки:
И всюду вижу я мою любовь
И счастлив заблуждаться вновь и вновь.
Она не раз являлась предо мной
В траве зеленой и в воде прозрачной,
И в облаке не раз ее найду.
И Леда перед этой красотой
Сочла бы дочь-красавицу невзрачной,
Так солнце гасит яркую звезду.
Чем дальше забреду,
Чем глуше место, тем мою отраду
Прекрасней нахожу. Но вот обман
Растает, как туман,
И камнем хладным я на камень сяду,
И зарыдает хладный камень тот
И пальцами по струнам проведет.
На самую высокую из гор,
Куда бессильны дотянуться тени
Других вершин, всхожу: ведь только там
Охватывает безутешный взор
Всю полноту душевных злоклучений.
Там предаюсь спасительным слезам,
Поняв, что к тем местам,
Где государыня моя осталась,
Неблизок путь. И про себя тогда
Шепчу: "Смотри туда,
Где, может, по тебе истосковалась,
Как ты по ней, любимая твоя".
И этой думою утешен я.
Канцона, за горами,
Где глубже и прозрачней небосвод,
Меня над речкой ты увидишь снова,
Где в рощице лавровой
Благоуханный ветерок поет:
Душа расстаться с милой не сумела,
И здесь перед тобою – только тело.

CXXXV

Особенной должна
Быть редкость, неожиданным явленье,
Возможность для сравненья
Дающее со мною, – разве нет?

Где брезжит первый свет,
Есть птица – диво стороны далекой:
Без друга, одинока,
От вольной смерти восстает она.
Так страсть моя – одна,
Так, полная высокого стремленья,
Не может жить без солнца своего,
Так гаснет – для того,
Чтоб вновь пылать, не зная утоленья,
Горит, сгорает, чтобы возродиться,
Как чудо-птица, жизни вновь полна.
Могучий камень скрыт
В индийском море: силой притягает
К себе железо он и отторгает
Его от дерева, топя суда.
Знакомая беда!
Так среди слез, в пучине, риф прекрасный
Мой краткий век злосчастный,
Мою ладью гордыней сокрушит;
Так не принадлежит
Мне больше сердце, не оберегает
Давно меня, затем что предпочла
Любимая скала
Железу плоть; так в бездну повергает
Меня, страха безвременной могилой,
Мой камень милый, мой живой магнит.
Есть в Африке края,
В которых обитает зверь кротчайший,
Но болью величайшей
Грозят его глаза, что смерть таят.
И, обращая взгляд
К сей твари, следует остерегаться
Глазами с ней встречаться:
Опасна только ими тварь сия.
Но, зная это, я
Упрямо, с неуклонностью редчайшей
На муку вновь иду, нетерпелив:
Влечет слепой порыв
Туда, где взором, негою сладчайшей
Мне смерть сулит, позвав на путь тернистый,
Мој ангел чистый, хищница моя.
Родник на юге бьет,
Что именем от солнца происходит:
Как только ночь приходит,
Вода кипит, а утром – холодна
(Тем холодней она,
Чем выше солнце на небесном своде).
Источник слез, я – вроде
Того ключа уже который год:
Едва лишь настает
Для взгляда ночь, когда он не находит
Лучей живого солнца, я горю;

Но только посмотрю
На светоч мой – и сразу сердце сводит:
Внутри неузнаваем и снаружи,
Дрожу от стужи, превращаюсь в лед.
Как явствует из книг,
Есть в Греции, в Эпире, ключ студень,
Что факел незажженный
Зажжет, волной своей воспламени.
Любовного огня
Душа моя еще не испытала,
Когда пред ней предстала
Холодная краса, – и в тот же миг
В душе огонь возник,
И перед нею, мукой опаленной,
И камень бы разжалобиться мог.
Но кто ее зажег,
Сам погасил огонь, едва рожденный.
Так сердце зажигала и гасила
Вновь эта сила – мой живой родник.
Струятся два ключа
На островах Фортуны: кто напиток
Из первого склонится,
Умрет, смеясь; воды в другом испив,
Он будет снова жив.
И я бы умер весело, быть может,
Но мука сердце гложет,
Неслыханное счастье омрача.
Амур, молчи, умча
Меня туда, где слава – небылица,
О роднике, который полн всегда,
Особенно когда
Апрельской трелью слух ласкает птица
И слез источник глубже океана:
Весною рана снова горяча.
Кто обо мне тебя,
Канцона, спросит, – скажешь: "Берег Сорги,
Закрытый дол меж гор – его приют,
Куда его зовут
Амур и образ той, что не в восторге
От нас, не зная жалости нисколько,
Себя лишь только наечле любя"

CXLII

Под сень благую, под густые листья
Бежал я от безжалостного света,
Который третье излучало небо;
Уже от снега вешний ветер горы
Освобождал, преображая время,
Густели травы, зацветали ветви.
Едва ли знала благородней ветви

Подлунная и зеленее листья,
Чем те, что мне весны явило время,
И я, от жаркого спасаясь света,
Не за тенистые укрылся горы:
Я знал, что к лавру благосклонно небо.
Теперь без страха я смотрел на небо
И, возлюбив прекраснейшие листья,
Бродил в дубровах, поднимался в горы,
Но ни ствола не повстречал, ни ветви,
Что были бы в такой чести у света
Верховного и презирали время.
И чувств моих не охладило время,
И, вновь спеша туда, где слышал небо,
Влеком лучами сладостного света,
Я возвращался к вам, живые ветви,
И в дни, когда лежат во прахе листья,
И в дни, когда травой покрыты горы.
Поля, дубровы, камни, реки, горы
Все на земле преобразает время;
И да простят мне дорогие листья,
Что многие круги свершило небо,
И эти клеем смазанные ветви
Решил покинуть я при виде света.
Пленен лучами сладостного света,
Великие преодолел я горы,
Чтобы любимые увидеть ветви;
Теперь же краткий век, места и время
Иной стезей зовут меня на небо
И ждут плодов – не все ж цветы и листья.
Другие листья, блеск другого света,
Другой на небо путь, другие горы
Искать мне время и другие ветви.

ССХХХVII

Не столь морскими существами волны
Населены, и небо над луною
Не столь усеяно звездами ночью,
Не столь обильны птицами дубровы
И травами – поляна или берег,
Сколь это сердце – думами под вечер.
Мне все желанней мой последний вечер,
Что у живой земли отнимет волны
И сон дарует мне и тихий берег:
Никто несчастней не был под луною,
Чем я, – тому свидетели дубровы,
В которых я блуждаю днем и ночью.
Я отдыха не знаю долгой ночью,
Вдыхаю – утро на дворе иль вечер,
Амуром превращен в жильца дубровы.
Покой найду, когда иссохнут волны,

И солнце поменяется с луною
Лучами, и увянет вешний берег.
Рождает боль живую каждый берег,
Я днем бреду в раздумьях, плачу ночью,
Не превзойден превратною луною.
Едва заря погаснет, что ни вечер
Вздыхает грудь, из глаз струятся волны,
Которым смыть под силу и дубровы.
Враждебны города, но не дубровы
Для дум, приют которых – этот берег
Высокий, где живые льются волны,
Когда я плачу безмятежной ночью,
И я на день не променяю вечер,
Не предпочту денницу пред луною.
Блажен пастух, что был любим Луною!
Мне спать бы рядом с ним в тени дубровы,
И та, кто близит мой последний вечер,
С Амуром и Луной на этот берег
Хоть до рассвета пусть пришла бы ночью,
А солнце бы навеки скрыли волны.
Ты завтра узришь волны под луною,
Родившаяся ночью песнь дубровы,
Ступив на берег дорогой под вечер.

CCLXVIII

Как быть, Амур? Печали нет предела.
О смерти мысль лелею:
Покинула Мадонна этот свет
И сердце мне вернуть не захотела,
И ради встречи с нею
Прервать пора череду жестоких лет.
Увы, надежды нет
При жизни положить конец разлуке.
Она ушла – ив муки
Отрады тайные превращены,
И безутешных слез глаза полны.
Ты знаешь о моей жестокой были,
О муке безысходной
И ты меня жалеешь в первый раз,
Вернее – нас, ведь мы ладью разбили
О тот же риф подводный
И в темноте остались в тот же час.
Опишет ли рассказ
Мои страданья, им не уступая?
И ты, юдоль слепая,
Со мною плакать день и ночь должна,
Сокровища такого лишена.
Твоя единственная слава пала,
Но, мир неблагодарный,
Ты не заметил. Недостоин ты,

Чтобы Мадонна по земле ступала,
Затем что лучезарной
Небесной недостоин красоты.
А я из пустоты,
Которая вокруг простерлась грозно,
Зову Мадонну слезно,
От стольких упований сохранив
Лишь слезы, – только ими я и жив.
Стал горстью праха лик ее цветущий,
Что от всего земного
Нас отвлекал, но, тлению чужда,
Ее душа – под сенью райских кущей,
Свободна от покрова,
Что был на ней недолгие года;
И час пробьет, когда
Она, пленяя нас другим нарядом,
Предстанет нашим взглядам,
Святою, вечной красотой светла
И потому прекрасней, чем была.
Отрадою для мысленного взора
Там, где она желанна,
Мадонна благосклонно предстает;
И в гордом имени моя опора,
Звучащем постоянно
В груди моей, – мой сладостный оплот.
Амур меня поймет,
Он замечает – я не тот, что прежде:
Пришел конец надежде;
Но я надеюсь, что моя тоска
Видна и той, что к правде так близка.
Вы, дамы, что ее небесной статью
И жизнью восторгались
И юной грациозной красотой,
Мне будет состраданье благодатью,
Как вы уже, наверно, догадались,
Но сострадание не нужно той,
Что обрела покой;
А я остался здесь, на поле сечи,
В душе внимая речи
Амура, – мне бы узел разрубить,
Но рад Амур меня разубедить:
"Покончи с болью, грудь твою сдавившей,
Ведь рай перед душою,
Не в меру страсти преданной, закрыт.
Мадонну почитают опочившей
Все, кроме нас с тобою.
Поверь, она к тебе благоволит,
И, зная, что звучит
В подлунной песнь, что славу ей приносит,
Она, вздыхая, просит,
Чтоб ты любви последний отдал долг
Чтоб голос твой по-прежнему не молк"

Разумно сторонись
Веселых, не в пример тебе, компаний,
Но не беги страданий.
Напутственные не забудь слова,
Канцона, безутешная вдова.

СССХХХІ

Бывало, дней моих живой родник
Мне часто приходилось покидать,
И бог любви не видел большей муки
И на земле, и среди волн привык
Я сердце безутешное питать
Надеждою и памятью в разлуке
Бросаю меч и поднимаю руки
Перед лицом Судьбы увы, она
В минуту погубила упования,
Одни воспоминанья
Душе оставя, и душа должна
Жить только ими, вечно голодна
Как скороход без пищи, без питья
Влачится, спотыкаясь на ходу,
Через холмы, равниною, чащобой,
Не так ли с той поры, как жизнь моя
Утратила волшебную еду,
В которую впилась – не дай, попробуй!
Та, что при слове "жизнь" пылает злобой,
Я не могу бессилье превозмочь?
И рад бы смерти, и боюсь, что рано.
Как пелена тумана
Бежит от ветра яростного прочь,
Бегу из мира в гробовую ночь.
Амур свидетель: вряд ли дорожить
Я стал бы жизнью, если бы не та,
Кого мы оба светом величали.
Но срок пришел ее душе ожить
На небе, и с тех пор мечта моя
Спешить за ней, чтоб нас не разлучали
Случайности. Однако плен печали
Мне предстоял – ведь я не разгадал
Другой совет Амура в милом взоре.
О горе мне! О горе!
Бывало, мир несчастным покидал,
Кто умереть счастливым опоздал.
В глазах, что были сердцу моему
Обителью, пока ревнивый Рок
Его оттуда злобно не изринул,
Амур с прискорбием начертал, чему
Желаньем долгим я себя обрек,
Какой в прощальный день я жребий вынул.
О, если бы я этот мир покинул,

Покуда жизнь моя жива была!
Но Смерть пришла – и ей закрыла вежды.
О тщетные надежды!
Земля мое сокровище взяла.
Я жив, но жизнь без милой немила.
Плохую службу мне не сослужи,
Мой бедный разум, не оставь меня
В минуту рокового помраченья,
Прочел бы я во взоре госпожи:
"Ты на пороге горестного дня,
Отрады – в прошлом, впереди – мученья"
И был бы рад земного облаченья
Лишиться первым и, освобожден
От ненавистной тесноты телесной,
В обители небесной
Увидел бы, что пуст Мадонны трон.
Но нет, – уйду, годами убелен.
Канцона, воем влюбленным г-евори
"Ты счастлив? Так умри,
Пока тебе твой путь подлунный дорог,
И не ищи весомых отговорок"

СССXXXII

Удел счастливый мой, пора блаженства,
Златые дни, безоблачные ночи,
И вздохи нежные, и сладость лада
Моих латинских строф и новых песен
Внезапно вылились в печаль и в слезы,
И немила мне жизнь, и жажду смерти.
Жестокой, злой, неумолимой Смерти
Я говорю: Лишив меня блаженства,
Ты сделала моим уделом слезы,
И мрачны дни мои, унылы ночи.
Мучительные вздохи – не для песен,
И скорбь моя сильнее любого лада.
Где признаки утраченного лада?
В словах о муках, в помыслах о смерти.
Где пламя строф, где жар любовных песен,
В которых сердца чуткого блаженство?
Где о любви слова под сенью ночи?
И на устах и в думах – только слезы.
Мечта когда-то породила слезы,
А сладостные слезы – сладость лада,
И, плача, долгие не спал я ночи,
Тогда как нынче слезы горше смерти,
Закрывшей взгляд, исполненный блаженства,
Высокое начало низких песен.
Прекрасный взор, предмет любовных песен,
В последних песнях заменили слезы
Воспоминаний о поре блаженства,

И мысль рождает перемену лада,
И без конца взываю к бледной Смерти:
Прерви мои мучительные ночи!
Покинул сон томительные ночи,
Глухие звуки – новый признак песен,
В которых говорится лишь о смерти,
И что ни песня – в каждой слышны слезы.
Изменчивее не бывает лада
В стране любви, где начал я с блаженства.
Никто не знал подобного блаженства,
Никто сильней не страждет дни и ночи.
Двойная боль двойного просит лада,
Рождающего звуки скорбных песен.
Надежду прежних дней сменили слезы,
И смерть одна – лекарство против Смерти.
Убитый смертью, только волей Смерти
Увижу лик в обители блаженства,
Что вздохи делал сладкими и слезы
Зефир и дождь под сенью нежной ночи:
Из светлых мыслей ткал я строфы песен
Любовного, возвышенного лада.
Когда, найдя опору в скорби лада,
Лауру смог бы я отнять у Смерти,
Как милую – Орфей звучаньем песен,
Я прежде бы испытал блаженство!
А не найду – пусть мрак ближайшей ночи,
Закрыв истоки, остановит слезы.
Амур, уж много лет, как льются слезы,
Как скорбного не оставляю лада,
На лучшие не уповаю ночи.
Поэтому я и взываю к Смерти
С мольбою взять меня в приют блаженства,
К той, без которой плачут строфы песен.
Взлети слова моих усталых песен
Туда, где неизвестны грев и слезы,
Она, чья красота – небес блаженство,
Тотчас же новизну заметит лада,
Неузнаваемого волей Смерти,
Оставившей меня Во мраке ночи.
Вы, кто в безоблачные верит ночи,
Кто пишет сам иль ждет любовных песен,
Глухой к моей мольбе скажите Смерти,
Страданий порту, где излишни слезы,
Пусть отрешится от бывшего лада,
Что всех печалит, мне ж сулит блаженство.
Сулит блаженство после долгой ночи:
И лада скорбь, и безысходность песен,
И слезы – все уйдет с приходом Смерти.

Когда мой нежный, верный мой оплот,
Чтоб тяжких дней моих ослабить муку,
По левую стоит над ложем руку
И речь свою премудрую ведет,
Я с трепетом дерзаю в свой черед
Спросить: "Откуда ты, душа благая?"
Ветвь пальмы прижимая
И лавра ветвь к груди, она в ответ:
"Сюда, на этот свет
Я поспешила с неба эмпирея,
Тебя, мой безутешный друг, жалея".
Ответом ей – мой благодарный взор.
"Но для меня, – я говорю, – задача,
Что послужило знаком..." – "Волны плача,
Неиссякаемые с неких пор,
И вздохи, одолев такой простор,
Смущают мой покой в святом пределе.
Послушай, неужели
Ты огорчен, что я из мира зла
В мир лучший перешла?
Ты был бы этим счастлив беспримерно,
Любя меня признаньям соразмерно".
"Я плачу о себе, вообрази,
Лишь о себе, на муки обреченном,
Что ты взошла на небо, убежденном,
Как в том, что видит человек вблизи.
Господь бы не явил благой стези
Оспе юной, полн благоволенья.
Будь вечного спасенья
Ты недостойна, редкая душа,
Что вознеслась спеша,
Свободна от одежд, в приют блаженства,
Высокое мерило совершенства.
Что, одинокому, помимо слез,
Мне остается при моем уделе?
Милей угаснуть было в колыбели,
Дабы не стать рабом любовных грез!"
"Зачем терзаться? – слышу я вопрос.
Ты лучше бы крылам себя доверил
И суету измерил,
И этот плач любовный – тот же прах!
На правильных весах
И радостно последовал за мною,
Вознагражден из двух ветвей одною".
"Нельзя ли мне, – я говорю тогда,
Узнать, что ветви означают эти?"
Она: "Ты не нуждаешься в ответе,
Ты, чьим пером одна из них горда.
Победы символ – пальма. Навсегда
Над миром и собою одержала
Я верх и лавр стяжала,
Триумфа знак. Всевышний и тебе

С соблазнами в борьбе
Поможет, и, найдя защиту в Боге,
Найдешь меня в конце твоей дороги".
"Ужели очи вижу наяву,
Что солнцем были мне, и те же косы,
Чей пленник я?" – "Подобные вопросы
Напоминают глупую молву.
Бесплотная, на небе я живу;
Что ищешь ты, давно землю стало,
Но я тебе предстала
Такою, чтобы скорбь прошла твоя,
И верь, что стану я
Еще прекрасней и тебе дороже,
Тебя да и себя спасая тоже".
Я плачу, и она
Мне вытирает терпеливо щеки.
И вновь звучат упреки
И камень был бы ими сокрушен.
И вдруг исчезли – и она, и сон.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

Перевод с латинского М. Гершензона...

ПИСЬМО К ПОТОМКАМ

Коли ты услышишь что-нибудь обо мне – хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, – то тогда, быть может, ты пожелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многообразны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть, и нет меры ни хвале, ни хуле. Был же я один из вашего стада, жалкий смертный человек, ни слишком высокого, ни низкого происхождения. Род мой (как сказал о себе кесарь Август) – древний. И по природе моя душа не была лишена ни прямоты, ни скромности, разве что ее испортила заразительная привычка. Юность обманула меня, молодость увлекла, но старость меня исправила и опытом убедила в истинности того, что я читал уже задолго раньше, именно, что молодость и похоть – суета; вернее, этому научил меня Зиждитель всех возрастов и времен, который иногда допущает бедных смертных в их пустой гордыне сбиваться с пути, дабы, поняв, хотя бы поздно, свои грехи, они познали себя. Мое тело было в юности не очень сильно, не чрезвычайно ловко, наружность не выдавалась красотой, но могла нравиться в цветущие годы; цвет лица был свеж, между белым и смуглым, глаза живые и зрение в течение долгого времени необыкновенно острое, но после моего шестидесятого года оно, против ожидания, настолько ослабло, что я был вынужден, хотя и с отвращением, прибегнуть к помощи очков. Тело мое, во всю жизнь совершенно здоровое, осилила старость и осадила обычной ратью недугов.

Я всегда глубоко презирал богатство, не потому, чтобы не желал его, но из отвращения к трудам и заботам, его неразлучным спутникам. Не искал я богатством стяжать возможность роскошных трапез, но, питаюсь скудной пищей и простыми яствами, жил веселее, чем все последователи Апиция с их изысканными обедами. Так называемые пирушки (а в сущности, попойки, враждебные скромности и добрым нравам) всегда мне не нравились; тягостным и бесполезным казалось мне созывать для этой цели других, и не менее – самому принимать приглашения. Но вкушать трапезу вместе с друзьями было мне

так приятно, что никакая вещь не могла доставить мне большего удовольствия, нежели их нечаянный приезд, и никогда без сотрапезника я не вкушал пищи с охотою. Более всего мне была ненавистна пышность, не только потому, что она дурна и противна смирению, но и потому, что она стеснительна и враждебна покою. От всякого рода соблазнов я всегда держался вдалеке не только потому, что они вредны сами по себе и не согласны со скромностью, но и потому, что враждебны жизни размеренной и покойной.

В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще долгие страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы; однако скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой ниюсти, в душе я всегда проклинал ее. Притом вскоре, приближаясь к сороковому году, когд; еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминание о нем, так, как если бы никогда не глядел на женщину; и считан это едва ли не величайшим моим счастьем и благодарю Господа который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства. Но перехожу к| другим вещам. Я знал гордость только в других, но не в себе; как! я ни был мал, ценил я себя всегда еще ниже. Мой гнев очень часто вредил мне самому, но никогда другим. Смело могу сказать – так как знаю, что говорю правду, что, несмотря на крайнюю раздражительность моего нрава, я быстро забывал обиды и крепко помнил благодеяния. Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью. Но такова печальная участь стареющих, что им часто приходится оплакивать смерть своих друзей. Благоволением князей и королей и дружбою знатных я был почтен в такой мере, которая даже возбуждала зависть. Однако от многих из их числа, очень любимых мною, я удалился; столь сильная была мне врождена любовь к свободе, что я всеми силами избегал тех, чье даже одно имя казалось мне противным этой свободе. Величайшие венценосцы моего времени, соревнуясь друг с другом, любили и чтили меня, а почему – не знаю: сами не ведали; знаю только, что некоторые из них ценили мое внимание больше, чем я их, вследствие чего их высокое положение доставляло мне только многие удобства, но ни малейшей доуки. Я был одарен умом скорее ровным, чем пронизательным, способным на усвоение всякого благого и спасительного знания, но преимущественно склонным к нравственной философии и поэзии. К последней я с течением времени охладел, увлеченный священной наукою, в которой почувствовал теперь тайную сладость, раньше пренебреженную мною, и поэзия осталась для меня только средством украшения. С наибольшим рвением предавался я изучению древности, ибо время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что, если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках. Поэтому я с увлечением читал историков, хотя их разногласия немало смущали меня; в сомнительных случаях я руководствовался либо вероятностью фактов, либо авторитетом повествователя. Моя речь была, как утверждали некоторые, ясна и сильна; как мне казалось – слаба и темна. Да и в обыденной беседе с друзьями и знакомыми я и не заботился никогда о красноречии, и потому я искренне дивлюсь, что кесарь Август усвоил себе эту заботу. Но там, где, как мне казалось, самое дело, или место, или слушатель требовали иного, я делал некоторое усилие, Чтобы преуспеть, пусть об этом судят те, пред кем я говорил. Важно хорошо прожить жизнь, а тому, как я говорил, я придавал мало значения: тщетна слава, приобретенная одним блеском слова.

Я родился от почтенных, небогатых, или, чтобы сказать правду, почти бедных родителей, флорентийцев родом, но изгнанных из отчизны, – в Ареццо, в изгнании, в год этой последней эры, начавшейся рождением Христа, 1304-й, на рассвете в понедельник 20 июля.

Вот как частью судьба, частью моя воля распределили мою жизнь донныне. Первый год жизни, и то не весь, я провел в Ареццо, где природа вывела меня на свет, шесть следующих –

в Анцизе, в усадьбе отца, в четырнадцати тысячах шагов от Флоренции. По возвращении моей матери из изгнания восьмой год я провел в Пизе, девятый и дальнейшие – в заальпийской Галлии, на левом берегу Роны; Авиньон – имя этому городу, где римский первосвященник держит и долго держал в позорном изгнании церковь Христову. Правда, немного лет назад Урбан Vv казалось, вернул ее на ее законное место, но это дело, как известно, кончилось ничем, – и что мне особенно больно, – еще при жизни он точно раскаялся в этом добром деле. Проживи он немного дольше, он, без сомнения, услышал бы мои попреки, ибо я уже держал перо в руке, когда Он внезапно оставил славное свое намерение вместе с жизнью. Несчастный! Как счастливо мог бы он умереть пред алтарем Петра и в собственном доме! Ибо одно из двух: или его преемники остались бы в Риме, и тогда ему принадлежал бы почин благого дела, или они ушли бы оттуда – тогда его заслуга была бы тем виднее, чем разительнее была бы их вина. Но эта жалоба слишком пространна и не к месту здесь. Итак, здесь, на берегу обуреваемой ветрами реки, провел я детство под присмотром моих родителей и затем всю юность под властью моей суетности. Впрочем, не без долгих отлучек, ибо за это время я полных четыре года прожил в Карпантра, небольшом и ближайшем с востока к Авиньону городке, и в этих двух городах я усвоил начатки грамматики, диалектики и риторики, сколько позволял мой возраст или, вернее, сколько обычно преподают в школах, – что, как ты понимаешь, дорогой читатель, немного. Оттуда переехал я для изучения законов в Монпелье, где провел другое четырехлетие, потом в Болонью, где в продолжение трех лет прослушал весь курс гражданского права. Многие думали, что, несмотря на свою молодость, я достиг бы в этом деле больших успехов, если бы продолжал начатое. Но я совершенно оставил эти занятия, лишь только освободился от опеки родителей, не потому, чтобы власть законов была мне не по душе – ибо их значение, несомненно, очень велико и они насыщены римской древностью, которой я восхищаюсь, – но потому, что их применение искажается бесчестностью людскою. Мне претило углубляться в изучение того, чем бесчестно пользоваться я не хотел, а честно не мог бы, да если бы и хотел, чистота моих намерений неизбежно была бы приписана незнанию.

Итак, двадцати двух лет я вернулся домой, то есть в авиньонское изгнание, где я жил с конца моего детства. Там я уже начал приобретать известность, и видные люди начали искать моего знакомства, – почему, я, признаюсь, теперь не знаю и дивлюсь тому, но тогда я не удивлялся этому, так как, по обычаю молодости, считал себя вполне достойным всякой почести. Особенно был я взыскан славным и знатнейшим семейством Колонна, которое тогда часто посещало, скажу лучше – украшало своим присутствием, Римскую курию; они ласкали меня и оказывали мне честь, какой вряд ли и теперь, а тогда уж без сомнения, я не заслуживал. Знаменитый и несравненный Джакомо Колонна, в то время епископ Ломбезский, человек, равного которому я едва ли видел и едва ли увижу, увез меня в Гасконь, где у подошвы Пиренеев в очаровательном обществе хозяина и его приближенных я провел почти неземное лето, так что и доныне без вздоха не могу вспомнить о том времени. По возвращении оттуда я прожил многие годы у его брата, кардинала Джованни Колонна, не как у господина, а как у отца, даже более – как бы с нежно любимым братом, вернее, как бы с самим собою и в моем собственном доме. В это время обуяла меня юношеская страсть объехать Францию и Германию, и хотя я выставлял другие причины, чтобы оправдать свой отъезд в глазах моих покровителей, но истинной причиной было страстное желание видеть многое. В это путешествие я впервые увидел Париж, и мне было забавно исследовать, что верно и что ложно в ходячих рассказах об этом городе. Вернувшись оттуда, я отправился в Рим, видеть который было с детства моим пламенным желанием, и здесь так полюбил великодушного главу той семьи, Стефано Колонна, равного любому из древних, и был так ему мил, что, казалось, не было никакой разницы между мною и любимым из его сыновей. Любовь и расположение этого превосходного человека ко мне остались неизменными до конца его дней; моя же любовь к нему доныне живет во мне и никогда не угаснет, пока я сам не угасну. По возвращении оттуда, будучи не в силах переносить долее искони присущее моей душе отвращение и ненависть ко всему, особенно же к этому гнуснейшему Авиньону, я

стал искать какого-нибудь убежища, как бы пристани, и нашел крошечную, но уединенную и уютную долину, которая зовется Запертою, в пятнадцати тысячах шагов от Авиньона, где рождается царица всех ключей Сорга. Очарованный прелестью этого места, я переселился туда с моими милыми книгами, когда мне минуло уже тридцать четыре года.

Мой рассказ слишком затянулся бы, если бы я стал излагать, что я делал там в продолжение многих и многих лет. Коротко сказать, там были либо написаны, либо начаты, либо задуманы почти все сочинения, выпущенные мною, – а их было так много, что некоторые из них еще и до сих пор занимают и тревожат меня. Ибо мой дух, как и мое тело, отличался скорее ловкостью, чем силою; поэтому многие труды, которые в замысле казались мне легкими, а в исполнении оказывались трудными, я оставил. Здесь самый характер местности внушил мне мысль сочинить "Буколическую песнь", пастушьего содержания, равно как и две книги "об уединенной жизни", посвященные Филиппу, мужу всегда великому, который тогда был малым епископом Кавальонским, а теперь занимает высокий пост кардинала-епископа Сабинского; он один еще в живых из всех моих старых друзей, и он любил и любит меня не по долгу епископа, как Амвросий Августина, а братски.

Однажды, бродя в тех горах, в пятницу Святой недели, я был охвачен неодолимым желанием написать поэму в героическом стиле о старшем Сципионе Африканском, чье имя по непонятной причине было мне дорого с самого детства. Начав тогда же этот труд с большим увлечением, я вскоре отложил его в сторону, отвлеченный другими заботами; тем не менее поэма, которую я, сообразно ее предмету, назвал "Африкою", была многими любима еще прежде, нежели стала известна. Не знаю, должно ли приписать это моему или ее счастью. В то время как я невозмутимо жил в этих местах, странным образом получил я в один и тот же день два письма – от Римского сената и от канцлера Парижского университета, которые наперерыв приглашали меня, одно в Рим, другое в Париж, для увенчания меня лавровым венком. Ликуя в юношеском тщеславии, взвешивая не свои заслуги, а чужие свидетельства, я счел себя достойным того, чего достойным признали меня столь выдающиеся люди, и только колебался короткое время, кому отдать предпочтение. Я письмом попросил совета об этом у вышепомянутого кардинала Джованни Колонна, потому что он жил так близко, что, написав ему поздно вечером, я мог получить его ответ на следующий день до трех часов пополудни.

Следуя его совету, я решил предпочесть авторитет Рима всякому другому, и мои два письма к нему, в которых я высказал свое согласие с его советом, сохранились. Итак, я пустился в путь, и хотя я, по обычаю юноши, судил свои труды крайне снисходительным судом, однако мне было совестно опираться на мое собственное свидетельство о себе или на свидетельство тех, которые приглашали меня и которые, без сомнения, не сделали бы этого, если бы не считали меня достойным предлагаемой почести. Поэтому я решил отправиться сперва в Неаполь и явился к великому королю и философу Роберту, столь же славному своей ученостью, как и правлением, дабы он, который один между государями нашего века может быть назван другом наук и добродетели, высказал свое мнение обо мне.

Поныне дивлюсь тому, сколь высокую он дал мне оценку и сколь радушный оказал мне прием, да и ты, читатель, думаю, дивился бы, когда бы знал. Узнав о цели моего приезда, он необыкновенно обрадовался, отчасти польщенный доверием молодого человека, отчасти, может быть, в расчете на то, что почесть, которой я домогался, прибавит крупницу и к его славе, так как я его одного из всех смертных избрал достойным судьбою. Словом, после многочисленных собеседований о разных предметах и после того, как я показал ему мою "Африку", которая привела его в такой восторг, что он, как великой награды, выпросил себе посвящение ее, в чем я, разумеется, не мог и не хотел отказать ему, он наконец назначил мне определенный день на предмет того дела, ради которого я приехал. В этот день он держал меня с полудня до вечера; но так как круг испытания все расширялся и времени не хватило, то он продолжал то же еще два следующих дня. Так он три дня исследовал мое невежество и на третий день признал меня достойным лаврового венка. Он предлагал мне его в Неаполе и многими просьбами старался вынудить у меня согласие. Но моя любовь к Риму одержала

верх над лестными настояниями великого короля. Итак, видя мою непреклонную решимость, он дал мне письмо и провожатых к Римскому сенату, чрез посредство которых изъяснял с большим благоволением свое мнение обо мне. Эта царственная оценка в то время совпадала с оценкою многих и особенно с моею собственной; нынче же я не одобряю ни его, ни моего суждения, ни суждения всех, кто так мыслит; им руководило не столько стремление соблюсти истину, сколько его любовь ко мне и снисхождение к моей молодости.

Все-таки я отправился в Рим и там, хотя недостойный, но твердо полагаясь на столь авторитетную оценку, принял, еще несведущий ученик, лавровый венок поэта среди великого ликования римлян, которым довелось присутствовать при этой торжественной церемонии. Об этом событии существуют и письма мои как в стихах, так и в прозе. Лавровый венок не дал мне знания нисколько, но навлек на меня зависть многих; но и об этом рассказ был бы более долог, нежели допускает здесь место. Итак, оттуда я отправился в Парму, где некоторое время прожил у владетельных синьоров Корреджо, которые не ладили между собою, но ко мне относились в высшей степени милостиво и любезно. Такого правления, каким пользовалось тогда это княжество под их властью, оно никогда не знало на памяти людей и, полагаю, более в наш век не узнает. Я не забывал о чести, выпавшей мне на долю, и беспокоился, как бы не стали думать, что она оказана недостойному. И вот однажды, поднявшись в горы, я чрез речку Энцу невзначай дошел до Сельвапьяна в округе Реджо, и здесь, пораженный необычайным видом местности, я снова принялся за прерванную "Африку"; угасший, казалось, душевный пыл снова разгорелся; я немного написал в этот день и в следовавшие затем дни ежедневно писал понемногу, пока, вернувшись в Парму и отыскав себе уединенный и покойный дом, позднее-купленный мною и до сих пор принадлежащий мне, в короткое время с таким жаром не довел это произведение до конца, что и сам ныне дивлюсь тому. Оттуда я вернулся к источнику Сорги, в мое заальпийское уединение.

Долгое время спустя, благодаря молве, разносившей мою славу, я стяжал благоволение Джакомо Каррара-младшего, мужа редких достоинств, которому едва ли кто из итальянских государей его времени был подобен, скорее, я уверен, никто. Присылая ко мне послов и письма даже за Альпы, когда я жил там, и всюду в Италии, где бы я ни был, он в продолжение многих лет не уставал осаждать меня своими неотступными просьбами и предложениями своей дружбы, что, хотя я ничего не ждал от великих мира сего, я решил наконец посетить его и посмотреть, что означает эта необыкновенная настойчивость столь значительного, хотя и незнакомого мне человека. Итак, хотя и поздно, и задержавшись по дороге в Парме и Вероне, я отправился в Падую, где этот славнейшей памяти муж принял меня не только человечески-радушно, но так, как в небесах принимают блаженные души, с такою радостью, с такою неоценимой любовью и нежностью, что, не надеясь вполне изобразить их словами, я принужден скрыть их молчанием.

Между прочим, зная, что я с ранней юности был привержен к церковной жизни, он, чтобы теснее связать меня не только с собою, но и со своим городом, велел назначить меня каноником Падуи. И если б его жизни было суждено продлиться, моим блужданиям и странствованиям был бы положен конец. Но увы! Между смертными нет ничего длительного, и если случается что-нибудь сладостное, оно вскоре венчается горьким концом. Неполных два года оставив его мне, отечеству и миру, Господь призвал его к себе, потому что ни я, ни отечество, ни мир говорю это, не ослепляемый любовью, — не стоили его. И хотя ему наследовал его сын, муж редкого ума и благородства, который, следуя примеру отца, всегда оказывал мне любовь и почет, но я, потеряв того, с кем меня более сближало особенно равенство лет, опять вернулся во Францию, не в силах оставаться на одном месте, не столько стремясь снова увидеть то, что видел тысячи раз, сколько с целью, по примеру больных, переменою места утишить мою тоску.

ГВИДО СЕТГЕ, АРХИЕПИСКОПУ ГЕНУЭЗСКОМУ О ТОМ, КАК МЕНЯЮТСЯ ВРЕМЕНА.

Перевод М. Томашевской.

Уже предвижу, что мне напомнят слова Горация, когда, рассуждая о нравах стариков, говорит он, что и сварливы-то они, и нудны, и лишь те времена склонны восхвалять, когда сами были еще юны. Все оно так, не скрою, и, хоть кое к чему НН написанного мной можно отнести это суждение, в сем письме не стану я утверждать обратного. Но пусть окажусь я брюзгой и певцом прошлого, все же не тщетными будут и жалобы мои на нынешние времена, и хвалы прежним. Нередко устами, привычными ко лжи, глаголет истина и, не давай ей веры говорящий, сама заставит перед собою склониться.

Итак, не устаю твердить я, в надежде, что и ты ко мне присоединишься – твердить, скорбеть и рыдать, ежели приличествует сие мужу: отчего старость свою влачим мы в года более мрачные, нежели те, что провели детьми? Или, быть может, век людской подобен веку древесному – как дерево, постарев, выстоит любую непогоду, так человек, окрепнув, выдерживает такие мирские и житейские бури, коих в нежном возрасте никогда бы не вынес? Нас это может утешить, других же нет. Ведь великое множество людей, покуда старимся мы, переживает свою юность; и случается так, что одним выпадает безмятежная старость, иным же – бурная юность. Но, оставив других, возвращаюсь я к нам с тобою. Несомненно, что, с одной стороны, года закаляют нас, а с другой – делают чувствительнее, да к тому же – нетерпимее. Нет ничего нетерпимее старости: и хоть умеет она смирять свои порывы, но, усталая и пресытившаяся жизнью, глубже чувствует, нежели любой иной возраст. К этому мнению не книги меня привели, не чужие слова, но собственный опыт, хотя, право, не знаю, согласишься ли ты со мной. Впрочем, с тем, о чем разговор я повел, сиречь о всеобщем пути ко злу и праху, истина, что солнца яснее, заставит тебя согласиться.

Не без приятности, я полагаю, было бы и не без пользы припомнить кое-что из минувшего, так давай обратим наши взоры вспять, сколь возможно далее. Первый отрезок жизни провел ты в родном доме, я – в изгнании; но не следует большого смысла искать там, где едва теплится светоч разума и духа. На рубеже младенчества и детства переехали мы, волею судьбы почти одновременно, в Галлию заальпийскую, ту, что ныне зовется Провансом, недавно же именовалась провинцией Арелатенсе. И вскорости вступили на единую жизненную стезю, такую связанные дружбой, какую возраст наш тогдашний допускаял и коя до самой смерти будет длиться. Здесь умолчу о твоей Генуе, что миновали мы в начале пути; сын ее, являешься ты ныне ее пастырем; тебе и так все известно, а я уже рассказал об этом в послании дожу и Совету, его читал ты, я знаю, и хвалил. Целью детского нашего путешествия был город, что древние называли Авенио, а современники зовут Авиньоном. Но затем, потому как незадолго до того перенесен был туда папский престол, чтоб лишь через шестьдесят лет в прежнюю обитель возвратиться, и оказался Авиньон тесен, скуден домами и переполнен жителями, порешили старики наши женщин с детьми отправить в близлежащее место. И мы, мальцами, были посланы туда же, но с иною целью: учиться. Кар-пантра называется сие место, городок маленький, однако столица небольшой провинции. Запечатлелись ли в памяти твоей те четыре года? Что за безмятежность, что за очарование, дома покой, на людях свобода, мир и тишина в полях! Уверен, что и ты так считаешь. И поныне за те и за прочие дни мои возношу благодарность Создателю, даровавшему мне столь безмятежную пору, когда вдали от житейских бурь впивал я сладкое молоко отроческого учения, взрастая на нем для пищи более серьезной. Но ведь мы изменились, заметит кто-нибудь, вот и кажется оттого, что все кругом изменилось. Так у больного и глаза по-другому видят, и язык ощущает иначе, нежели у здорового. Да, изменились мы, не отрицаю: да и кто же, не то что из плоти, но из железа или камня, за срок столь долгий не изменился бы? Статуи из мрамора и бронзы рушатся от времени, и города, возведенные людьми, и крепости, венчающие холмы и даже скалы, что всего тверже, обрушиваются с гор, так чего же от человека ожидать – существа смертного, с хрупкими членами и нежною кожей?

Но так ли велики перемены, что и сознание и рассудок отнимают у человека, тогда как душа еще его не отлетела? Допускаю, что коли вернулось бы вспять тогдашнее время, то в чем-то оно показалось бы иным, нежели казалось тогда. Не скажу, что ничего не изменилось в нас с годами; ясно, что прошлое предстало бы нам другим, но разве не было оно все же много лучше и покойнее, чем настоящее? Или быть может, если не различают глаза спиц в колесах тончайшего творения Мирмецида – колеснице, кою накрыть, говорят, могла крыльшками муха, и если всю остроту зрения человеческого напрягши, невозможно пересчитать ножки и другие части Калликратова муравья, если не в состоянии глаза с легкостью читать знаменитую "Илиаду", написанную столь мелко, что, по словам Цицерона, заключалась она в скорлупе ореха, так до того, значит, слабы они, что ни городов, ни сел, ни нравов, ни обычаев, ни жилищ, ни храмов не видят? И ум человеческий столь ничтожен, что не может понять, как все и хиреет и изменяется? Какой безумец не заметит, как все к худшему клонится? Не доводилось ли нам позднее видеть этот город, до того с собою несхожим, что лишь человек, вовсе лишенный рассудка, может столь глубоких перемен не заметить. Ведь через несколько лет после того, как покинули мы его, превратился город сей в столицу королевства тяжб, а лучше сказать – в обиталище демонов, коим отнюдь не был прежде. Покинул его покой, покинули беспечность и тишина, заполнили споры и крики судейских.

Что же нам предстоит, ведь и с переменою мест, и с течением времени должны были мы тоже измениться, и, вне сомнения, изменились? Жители едва узнают теперь свою родину, о чем многократные жалобы знакомцев наших свидетельствуют. Но все перемены эти – могут мне сказать – во имя правосудия свершились, а ведь оно без шума редко может обойтись. Но я сейчас не о причинах, а только лишь о самых переменах речь веду. И то, что город и весь край, прежде безопасным казавшийся, оружием недоступным и неподвластным Марсу, ибо велико было почтение к папскому престолу, под чьей защитой он находился, ныне войском разбойников опустошен и разграблен – все это тоже во имя правосудия? Ежели бы в детстве нашем предсказал кто-нибудь подобное будущее, разве не сочли бы безумным сего ненавистного пророка? Но все, однако, по порядку. Хоть мог бы я повести речь о старине, все же охотнее о том с тобою побеседую, что сами мы видали, дабы на помощь рассуждениям моим пришла твоя память. Уже на пороге зрелости и опять вместе (и для чего провели мы порознь большую часть жизни?) отправились мы из Авиньона изучать право в Монпелье, город в ту пору процветавший, и прожили там еще четыре года. Был он тогда во власти короля Майорки, и лишь малая часть его принадлежала королю французскому, вскорости – сильный сосед всегда опасен – его целиком захватившему. А тогда какой был там мир да покой, сколько купцов, какие толпы школяров и какое множество учителей! Как мало там всего этого теперь! Как переменялась и жизнь общественная, и жизнь частная – о том ведомо и нам и горожанам, прежние и нынешние времена знававшим. Из Монпелье перебрались мы в Болонью, коей привольнее и милее, думаю я, на свете не сыщешь.

Хорошо ли ты помнишь сборища студентов, усердие наше и величавость наставников: казалось, то воскресли древние законоведы! Ныне почти никого уж нет в живых, и на смену этим великим умам пришло весь город наводнившее невежество. Так пусть уж врагом будет оно, а не гостем, а уж коли гостем, так хоть не гражданином или, того хуже, владыкой: а ведь сдается мне, что все поспешили сложить оружие к его ногам. И так этот край был плодороден и изобилен, что по всему свету не иначе слыл, как "тучной Болоньей". Не скрою, вновь начала она оживать и тучнеть по мудрости и благочестию нынешнего папы, но еще недавно, кабы ты заглянул в самую сердцевину – ты бы ужаснулся ее худосочию.

Когда года- три тому назад ездил я повидать назначенного управлять сей епархией кардинала де ла Роша, мужа отменнейше-го, что и в бедах обык шутить, и после радостных и для гостя столь жалкого чрезмерно почетных объятий принялись мы беседовать, на мой вопрос о делах города вскричал он: "Дружище, прежде была Болонья, ныне же она – Мачерата!" – так шутя присвоил он ей название нищенского городка в Пичено.

Думаю, ты почувствовал уже, с какой сладостной горечью перебираю я в несчастье счастливые воспоминания. Ясный и неизгладимый след оставило в моей памяти, полагаю, впрочем, и твоей, время, что школяром провел я в Болонье. Между тем наступал возраст более пылкий, и на пороге юности отваживался я переступить границы дозволенного и привычного. Частенько разгуливал я вместе со сверстниками, и в иные праздничные дни случалось нам бродить так долго, что сумерки застигали нас среди полей и лишь глубокою ночью возвращались мы домой; ворота же городские бывали открыты, а если случайно оказывались они запертыми, то не было нужды карабкаться на стены, ибо лишь непрочный и разрушившийся от времени вал окружал бесстрашный город. Да и какая нужда в стенах при царившем тогда мире? И не один, а множество путей вело в город, и каждый выбирал себе наиболее удобный. Нужду же в сторожевых башнях, стенах, вооруженной страже, ночных дозорах сперва создало пагубное самовластье, а затем уж и натиск врагов. Отчего же я, однако, все о давно прошедшем толкую и, мешкая возле Болоньи, замедляю бег своего пера? Разве не оттого, что в памяти моей жива Болонья прежняя, и, сколько б мне ни доводилось видеть ее потом, всякий раз я думал, что брежу, и собственным глазам не верил? Вот уже много лет, как мир сменила война, свободу – рабство, радость – уныние; вместо песен слышатся стоны, и, где прежде резвились девичьи хороводы, рыщут ныне стаи разбойников. И если бы не соборы и башни, по сей день взирающие на злосчастный город со своей высоты, ни за что бы не узнать, что тут была некогда Болонья.

Но хватит о Болонье. Проживши там три года, я вернулся домой: о том доме говорю, что, взамен отнятого на Арно, даровала мне судьба – да будет она всегда благосклонной! – на берегах бурной Роны. Многим представлялось место это ужасным, и более всех мне, но не столько само по себе, сколько из-за грязи и подлости, в нем со всего света собравшимся. Теперь же, с течением времени, стало оно и того хуже, и отрицать это осмелится лишь самый бесстыдный лжец. Вот насколько бывшее его представляется счастливее настоящего! Чтобы не задерживаться на частностях, скажу, что хоть и никогда не видывали ни веры, ни милосердия и, говоря словами, сказанными о Ганнибале: "ничего истинного, ничего святого, ни страха перед богами, ни верности клятвам, ни уважения к святыням" – в краю, который выбор папы должен был превратить в твердыню благочестия, но всегда было там, куда ни кинь взгляд, спокойно и безопасно. Так глубоко ныне кануло все это, что город душится невиданным доселе ярмом налогов, из страха перед врагами пришлось окружить его новыми стенами, и где ночами все было открыто, теперь среди бела дня охранять доступ к воротам. Но, не найдя помощи в оружии и крепких стенах, стали пытаться купить спасение золотом и молитвами. И промысел Божий вижу я в том, что наместник Его со своими присными сердцем к законной супруге повлеклись, коей столь долго пренебрегали. Сия ли причина, врожденная ли добродетель, но знаешь ты, что свершилось это с папой; упорных же уломает Господь или смерть, за что, как кажется, она уже взялась. Вообще же, коли зло причинено голове, то терпеливей снесут его члены, и нечего удивляться, что почтение к далекому папе не может обуздать тех, кого и папская близость не сдерживала. А впрочем, никакая закоренелая привычка ко злу нового добра не отринет, и в души неустойчивые можно заронить стремление повернуть вспять; сейчас же земля эта кишит бесчинствами.

Прежде чем двинуться далее, припомню еще кое-что из того, что и по сей день меня волнует, и мысленно попытаюсь – чего въяве не желал бы никак помолодеть, беседуя с тобою. Ты помнишь, верно, как в то цветущее время, на заре нашей жизни, что провели мы в учении и удовольствиях, отец мой и твой дядя, бывшие тогда в нашем теперешнем возрасте, приехали, по обыкновению, в упомянутый мною городок Карпантра. Л приехав, дядя твой тотчас был охвачен желанием, чему, я думаю, и слава и близость содействовали, увидеть тот знаменитый источник вблизи Сорги, который, если дозволено перед столь близким другом похвастать, потом стихи мои еще более прославили. Тут и мы загорелись пылким ребяческим желанием отправиться туда же, а поскольку сочтено было небезопасным доверить нас лошадям, то к каждому из нас приставили слугу, дабы, сидя позади, и лошадей направлял он и нас. Так, умолив лучшую и самую любящую из матерей, мою по крови и

общую по чувству, взволнованную и трепетавшую за нас, тронулись мы в путь под надзором мужа, чье имя ты носишь и к чьей учености и славе с лихвой прибавил собственную и воспоминанье о коем полнит мою душу радостью. Когда же прибыли мы к источнику, потрясенный удивительной красотой тех мест, погрузился я в детские свои мечтания и сказал себе так: "Вот место, природе моей наиболее соответственное, кое, ежели удастся, предпочту я великим городам!" Про себя произнес я тогда то, что, возмужав, пытался доказать делом всякий раз, когда завистливый мир оставлял меня в покое. Многие провел я там годы, и пусть течение их нередко прерывалось тяготами и заботами, а все же такой безмятежностью и покоем наслаждался, что, раз познав, что есть истинное счастье, лишь время, проведенное в Сорге, считаю жизнью, все остальное мучением.

Так жили мы, душою неразлучные, но занятиям предавались различным, ибо ты к спорам стремился и шумным собраниям, я же – к досугу и сельской тишине. Ты в вихре общественной жизни искал заслуженных почестей, которые удивительное дело – на зависть другим преследовали меня, с презрением в глубь лесов от них бежавшего. Зачем стану описывать тишину полей, неумолчное журчание прозрачной реки, мычание коров в долинах и пенье птиц, дни и ночи заливающих на ветвях? Знакомо тебе все это, и ежели сейчас не можешь ты последовать за мною, то все же охотно спешил ты сюда, словно в спасительную гавань, всякий раз, когда мог скрыться от городской сутолоки, но, увы, нечасто это случалось. Сколько раз в полях одного меня тьма заставляла! Как часто летом подымался я среди ночи и, один, не тревожа объятых сном домочадцев, уходил, помолившись, то в горы, то в поля, освещенные ярко луною! Сколь часто в ночные часы без спутников входил я с трепетным восторгом в громадную пещеру у источника, куда и днем-то с людьми зайти страшно! Ежели спросят о причинах подобной отваги, то ведь не боюсь я ни духов, ни привидений, волков на этой равнине не видывали, а людей здесь нечего страшиться. Пастухи в полях, рыболовы, бодрствующие у реки, одни с пением, другие в молчании, все они пеклись обо мне и всячески угождали, ибо знали, что их и всего того края господин не просто друг мне, а любимый брат и отец.

Повсюду лишь доброжелателей я встречал, ни единого врага. И, размышляя об этом, – помню, и ты со мною соглашался, – убеждал я себя, что, весь круг земной потряси война, сие место мирным останется и безмятежным. И этому, полагал я, почтение и в особенности близость святой церкви споспешествуют. А сверх того и бедность, беспечная презрительница оружия и алчности. И что же? Поразишься, когда узнаешь. При мне еще стаи пришлых волков принялись резать стада, врываясь в самый городок и повергая в трепет перепуганных жителей, и, я думаю, что не просто бедствие это было, но и знамение, предвестие волков вооруженных, что должны прийти следом. Ибо вскоре после того, как я уехал, гнусная шайка бесстыдных разбойников всю округу обшарила и разграбила, пользуясь неопытностью жителей, а чтоб награбленным благочестиво почтить защитницу воров Лаверну, на самое Рождество Христово ворвалась в беспечное селение и, унеся, что возможно, остальное предала огню. Огонь пожрал тот скромный приют, откуда с презрением взирал я на богатства Креза. Уцелела после пожара старая кровля: спешили не честивцы! Книжки, что оставил я, уезжая, сын моего управляющего, давно уже подобное предрекавший, снес в крепость, ее сочли разбойники неприступной и ушли, не зная, что безлюдна она и беззащитна.

Так, сверх чаяний, вырваны были книги из свирепой пасти, не допустил Господь, чтобы очутилась в столь грязных руках добыча столь благородная. Ныне лишь тень прежнего Воклюза обретешь в сих тенистых приютах. Для воров и разбойников ничего нет укромного, ничего удаленного, ничего тайного: всюду проникнут, все увидят, все обшарят. Нет твердыни, нет благословенного уголка, до коего не добрались бы разнузданное корыстолюбие и вооруженная алчность. Но так милостив ко мне Господь, что, когда думаю я о нынешнем Воклюзе и вспоминаю прежний, не верю, что тот самый это край, где, беспечный и одинокий, ночами бродил я по горам. Однако, принявшись говорить уже не о бедствиях Воклюза, а о сладостном моем уединении, скажу я, быть может, много лишнего.

Сравнивая прежнее и нынешнее, чтоб очевиднее сделать перемены, нарушил я порядок, но вернусь к моему рассказу!

Через четыре года после возвращения в Болонью, с мужем. коего много и часто, не менее, чем следовало, я восхвалял, побывал я в Тулузе, на берегах Гаронны и в Пиренеях, нередко под хмурыми небесами, но в обществе неизменно безмятежном. И о них могу сказать лишь то же, что о прочих. И Гасконь, и Тулуза, и Аквитания, по имени те же, на деле так изменились, что, кроме вида, ничего в них прежнего не осталось. Вернувшись, устремился я еще через четыре года в Париж, влекомый юношеской любознательностью. А по пути туда и на возвратном – так сильно пыл юности подстрекает – побывал я во всех уголках королевства, и во Фландрии, и в Эно, и в Брабанте, и в ближней Германии. А вновь побывав там недавно, с величайшим трудом узнавал я немного из прежнего, видя богатейшее некогда королевство лежащим во прахе и почти ни одного дома вне стен, крепостных или городских, не найдя. Об этом рассказал я подробно в письме к почтенному старцу Пьеру де Пуатье, кой вскорости умер, и лучше для него было бы умереть еще раньше. Где прежний Париж, многим молве и хвастовству жителей обязанный, но все же несомненно великий? Где же толпы школяров, где рвение к наукам, где веселье, где достаток горожан? Ныне не споры слышны там, а шум схваток, не книги, а груды оружия виднеются, не речи раздаются, а выкрики часовых и грохот таранов, поражающих стены. Прекратились охотничьи забавы, стены сотрясаются, леса погружены в безмолвие, и в самих городах едва ли безопасно.

Покой, казалось, основавший там свое царство, навеки сгинул, и никогда еще стольких опасностей, никогда менее спокойно там не бывало. Кто, я спрашиваю, предсказал бы, что могущественный и непобедимый король французский не просто побежден будет, но брошен в темницу и лишь за громадный выкуп отпущен на свободу? Впрочем, виновник зла делает само зло терпимым: король королем, пусть неравным ему, был захвачен. Всего плачевней то, что король и сын его, ныне царствующий, возвращаясь на родину, схвачены были и принуждены замиряться с разбойниками, дабы по собственным землям в безопасности продолжить путь. Кто, повторяю, в счастливом этом королевстве мог не только помыслить о подобном, но, скажу более, во сне увидеть? Как в это потомки поверят, ежели когда-нибудь – переменчивы судьбы людские! – к прежнему состоянию вернется королевство? Ведь даже мы не верим, хоть сами видим.

Через четыре года, воротившись из первого своего путешествия по Франции, впервые побывал я в Риме. И тогда, и еще ранее не был он ничем иным, нежели тенью и подобием Рима древнего. Нынешние руины – прежнего величия свидетельство, но до сей поры под сим благородным пеплом тлели еще угли, теперь же потухли они и остыли. Был там, подобный возрожденному из праха Фениксу, достойный старец Стефано Колонна, о коем я говорил уже, отец доброго моего покровителя и глава славной своею знатностью и великими несчастьями семьи: его и семью его восхвалял я часто и никогда восхвалять не устану; были и иные, кто хоть дорожил родными развалинами. Ныне таких ни там, ни еще где-либо не осталось.

Еще через четыре года посетил я Неаполь, и хотя после частенько и в Рим я и в Неаполь наезжал, все же именно первые впечатления остаются в душе. Тогда Роберт был королем Сицилии, а вернее, всей Италии, а еще лучше сказать – был он королем среди королей. Жизнь его счастьем была для королевства, смерть же – погибелью. После отъезда моего прожил он недолго. И если запрещает иногда небо спешить надвигающимся уже бедствиям, то едва ли приходилось кому-нибудь умирать более своевременно; подобная смерть мне высшим счастьем жизни представляется. На четвертый год (так жизнь моя на четырехлетья делилась) вернувшись в Неаполь, куда не вернулся бы, когда б приказ папы Клементя меня к этому не понуждал, увидел я и стены, и улицы, и море, и гавань, и окрестные холмы, и вдали виноградники Везувия и Фалерна, и Капри, и Прочиду, и Искью, волнами омываемые, и Байи, дымящиеся зимой; не нашел лишь знакомого Неаполя. Зато прозрел начала множества зол и ясные признаки надвигающихся бедствий, коих, к скорби

своей, оказался столь правдивым пророком. Предчувствия свои не только словами, но и пером я запечатлел тогда, когда гремел уж гром судьбы, но еще не сверкали молнии. Все это вскоре исполнилось, и многое еще сверх того, так что, сколь ни, были ужасны мои пророчества, все бесконечная череда зол превзошла. Оплакать их много легче, нежели исчислить.

Незадолго до того, влекомый дружбой к тому, чьей памяти многим я обязан, праздным мужем вернулся я в края, где юношей трудился, и узнал тогда всю предальпийскую Галлию, с коей до той поры лишь слегка был знаком. И уже не глазами путника взглянул я на нее, а глазами местного жителя: ибо жил сперва в Вероне, затем в Ферраре и Парме, а позднее в Падуе, к ней приковали меня нерасторжимые узы дружбы к одному достойнейшему мужу, о чьей гибели никогда не смогу вспоминать без скорби. Хоть был сам он велик и знаменит повсюду, так упорно искал дружбы ничтожного чужеземца, коего лишь по имени знал, а видел, по собственному его признанию, лишь однажды, да и то мимоходом, словно дружба эта великую пользу могла принести ему и его городу. Будь он жив, думаю, поселился бы я навсегда в Падуе, но и после смерти его жила там подолгу, хотя нередко приходилось мне покидать ее. Когда впервые приехал я туда, до того был город обезображен недавнею страшною чумой, что должно признать его единственным сумевшим подняться из ничтожества, а не впасть в него; этому мудрость и попечения старшего сына споспешествовали и мир, по сей день ничем не нарушаемый. Если же вспомнить, однако, какой была Падуя за год до приезда моего, сиречь до начала чумы, так и она, подобно прочим, переменилась и сама с собою не схожа стала.

Позднее в Милане побывал я и в Павии. Что же сказать о них? Ни один город не остался, каким был, не только века назад, но даже и на нашей памяти. Не таким, о каком слышали мы или читали, но каким собственными глазами его видели. Милан, что полторы тысячи лет процветал и никогда, думаю, не цвел так, как на нашем веку, более уже не цветет, хоть и держится еще прошлым величием своим и могуществом. Спроси жителей: все они это подтвердят и о вещах, еще более прискорбных, тебе поведают. Что говорить о Пизе, где седьмой год жизни я провел, или Сиене? Что об Ареццо, милом мне памятью о рождении моем и отцовском изгнании? Что о Перудже, с ним соседствующей, что о прочих городах? Для всех условие едино: сегодня не те, что вчера, и, хоть сами перемены достойны изумления, стремительность их поражает в особенности.

Так мог бы я по всей Италии, да и по целой Европе, с тобою пройти и повсюду лишь новые подтверждения словам своим нашел бы. Но боюсь, утомившись сам, и тебя утомить и того, кто, быть может, уельшит или прочтет эту нашу беседу, ежели по всем тем землям тебя пером своим поведу, где пусть недавние свершились перемены, но очевидные и плачевные. Все же потешил я душу свою, ибо, не знаю, прав ли я, но и в печали находим мы некую усладу, мне же давно желалось вновь увидеть в беседе с тобою года прожитые и дальние края. Путь, ногами пройденный и по морю проделанный, ныне отмерить пером. Не могу, предавшись воспоминаниям, обойти стороной мою родину. Разве не являет она собою очевиднейшее свидетельство злосчастных перемен? Столь недавно на зависть итальянским и всем христианским городам процветавшая, а ныне войнами, пожарами и болезнями обращенная в ничтожество, всех смертных учит она тому, что и на краю гибели не следует оставлять надежды.

Возможно, возразит мне некий спорщик. Ибо есть люди, что, не имея сил защищать истину, обманами с нею воюют и тут не знают покоя, из этого создавая себе искусство. Не сумев отрицать вовсе, скажет он, что лишь для упомянутых мною краев справедливо сказанное. Для иных, дескать, нет. И не существует, мол, изменения целого, ибо сколько в одном убавится, столько прибавится в другом. Я же скажу: с радостью буду повержен, на востоке, на севере или на западе повстречавшись с обратным. Но даже Венеция, откуда пишу тебе и где до конца дней своих поселился, не утех ища, а лишь покоя и безопасности, хоть спокойствием и благополучием выделяется, чему и мудрость граждан, и расположение города немало способствуют, была некогда еще благополучнее. А было это тогда, когда

юношей впервые приехал я с наставником из Болоньи взглянуть на сей город. Ты мог бы убедиться, что сами жители этого не отрицают, хоть и стало теперь в Венеции много больше дворцов, чего не стану оспаривать. Ежели не угомонится мой противник, признаю, что как обстоят дела у серийцев и индов, мне не ведомо, но путь Египта, Армении, Сирии и всей Малой Азии тот же и участь не лучше, нежели у нас. Давнишни несчастья Греции, но бедствия скифов новы. Откуда недавно морем годовые запасы хлеба везли в Венецию, оттуда идут корабли, груженные рабами, коих продают несчастные родители, голодом понуждаемые. Диковинного вида толпа мужчин и женщин наводнила скифскими мордами прекрасный город подобно тому, как прозрачную реку мутит неистовый поток. И коли не нравилась бы толпа сия покупателям более, чем мне, коли не услаждала их взоры более, чем мои, не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы, не поражал бы привыкших к красивым лицам приезжих, а в своей Скифии, вместе с Голодом, тощим и бледным в покрытом камнями поле, где помещает его Назон, по сей день рвал бы ногтями и зубами скудные травы.

В возражение мне скажут, что зря я плачусь, ибо не только в наше время, но всегда подобные перемены происходят. Но не жалею я, зная, что от начала вещей двигалось все, ничто не оставалось неизменным. И не вопрошаю: "отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что, – как говорит Соломон, – не от мудрости ты спрашиваешь об этом". Многие могут быть тому причины, что ведомы Богу, а некоторые из них, быть может, и людям. Не плачу я о том, что меняются времена, не доискиваюсь причин, а хочу лишь, чтоб в перемены сами поверили те незнающие и неверующие, кто, средь зол родившись и иного не видев, на том стоят, что и не бывало иначе.

Все изменения, явственные и прискорбные, переменою наших занятий они объясняют и состоянием духа. С охотою признаю я все это, но ведь не зависят первые перемены от последних: громадное колесо вертится не менее быстро, оттого что по нему медленно тащится муравей. Скажут, наконец, что не обстоятельства, не времена, не мир изменяется, а только сами люди. В целом соглашусь с этим, ведь часто миром называют людей, для коих, несомненно, он и создан. И верно, что причины многих изменений в людях таятся, а быть может, и всех, коли заглянуть глубже, только одни явны, иные же сокрыты. Нет сомнения, что скоро изгнаны будут истина, вера и благочестие, воцаряется обман, нечестие и предательство, по всей земле свирепствовать станут раздоры и войны, воинство мерзких разбойников безнаказанно пройдет повсюду, все, что встретится на пути, разоряя и опустошая, ни крепости, ни короли против них не устоят. Развращенные нравы, дурные занятия, пагубные привычки – ясно, что в людях самих корень всех зол. Но, как сказал уже, не о причинах я речь веду, а о самих вещах, коих в мое время не бывало. Редко королевства из-за рубежей или каких-либо обид воевали, не было еще этих союзов на погибель роду человеческому. Были союзы купеческие, видали их мы с тобою, при их посредстве доле других родина моя процветала. Всем краем нашим управляли они, короли и принцы пользовались советами их и поддержкой. И рассказать и поверить трудно, каким благом были они для людей. И иные были союзы – сообщества пилигримов, в святые места направляющихся, в Рим и Иерусалим. Не видывали разбойничьих отрядов, средь бела дня выстроившихся в открытом поле. И полководцы славы себе жестокостью и людскими страданиями не добывали. Было нам по двадцать пять лет, когда слух поразило ужасное имя. Сколь быстро взросло зло и куда обратилось, видели мы с тобою, селяне же несчастные, горожане и даже священники, не исключая и высшего, на себе испытали. Он, как говорил я уже, на берегах Роны, откуда вернулся недавно, едва не попал в плен и заплатил позорный выкуп. И он не умалчивал об этом, часто и горько сетуя в кругу близких, и я в сем упомянул в письме к нему. Кто же теперь решится отрицать, что ужасно и несказанно переменились времена? Либо стыда лишен он, либо рассудка. Нельзя не видеть явных и зловещих вспышек еще худших бедствий, когда несчастный мир ежедневно такое терпит, о чем прежде и не слыхивали.

Что же еще? Название чумы слышали мы или в книгах читали, чумы же вселенской,

что вот-вот весь мир опустошит, и не слышал никто и не видал. А ведь уж двадцать лет, как по всем странам она свирепствует, мешкая иногда или обходя некоторые места, но нигде до конца не угасая. Кажется, ушла, но идет назад, обрушиваясь на до времени возвеселившихся. И есть она. если не обманываюсь, знак гнева Божьего за грехи человеческие. Ежели меньше станет их когда-либо – и ярость небесная смягчится.

И слово "землетрясение" слышали и читали, само явление у историков находя, причины же его – у физиков. По ночам редкие толчки, сомнительные, скорее миражи, мерещились, бывало, любопытным: подлинного землетрясения никто в наше время не видел. Ныне же двадцать лет – одно начало у обоих было зол, – как двадцать пятого января Альпы, непривычные к землетрясениям, по словам Марона, содрогнулись, и вскоре всю восточную Италию и Германию так затрясло, что многие несведущие, кому все это внове было и в диковину, решили, что пришел конец света.

Я тогда в Вероне, в библиотеке своей, находился и, хоть не было это для меня делом вовсе неслыханным, все же потрясен был внезапностью и при виде пола, ходящего под ногами, и книг, отовсюду летящих, оцепенел, а выскочив наружу, увидел, как мечется народ и мои домочадцы. Смертельная бледность покрывала лица. Через год землетрясение в Риме разрушило башни и храмы, тогда же было оно и в Этрурии, о чем писал я, взволнованный, нашему Сократу. Через семь лет в нижней Германии и рейнской долине землетрясение случилось, и разрушился город Базель, небольшой, но красивый и, казалось, основательный; ничто, стало быть, не выдержит натиска природы. Всего за несколько-4 ко дней я оттуда уехал, месяц прождавши там нашего императора, принца доброго и мягкого, но ленивого. В варварской глуши принужден был я его разыскивать. Хотел я написать о землетрясении Иоанну, достойному архиепископу города, ибо не забыл, с каким почетом принял он меня, но написал ли, не помню: копии у меня не сохранилось. В тот же день, передают, восемьдесят замков по берегам Рейна с землей сровнялось. А в юности нашей чудом было бы, если б легкая содрогнулась пастушья хижина. Однако привычка у смертных и ужас и изумление притупляет. И тут тоже перемены, о коих речь веду, сказываются, причины же их, как говорил я уже, сокрыты. Разве только и это, и все прочее от грехов людских творится, грехам же сим ни числа нет, ни меры Одно людьми свершается, другое природою, по воле и промыслу Божию, и все из-за грехов человеческих, не станет их, не станет и наказаний. Впрочем, какова бы ни была причина бедствий, кто б ни творил их, они существуют.

Так, отец мой, в один день прошли перед глазами наши с тобою годы, по заслугам неравные, равные по числу, кои, не таясь, назвал я в письме к другу. Поступаешь ли ты так же или, по стариковскому обычаю, оглядываясь на прожитое, скрываешь что-то, не ведаю. Будь здоров и счастлив, не забывай меня.

ПРИМЕЧАНИЯ

КНИГА ПЕСЕН

Советы на жизнь Мадонны Лауры

Стр. 22. Был день, в который... – Петрарка имеет в виду Страстную пятницу (6 апреля 1327 г.), когда он впервые встретил Лауру... Скорбя, померкло Солнце... – Согласно преданию, в день распятия Христа "померкло солнце".

Стр. 24... Добро одних над злом других подняв... – Речь идет о планетах Юпитер и Марс, то есть, иначе говоря, о торжестве благого начала (Юпитер) над злым (Марс)... И рыбаков Петра и Иоанна... – По преданию, апостолы Петр и Иоанн были рыбаками... И ныне городку... – Речь идет о селении Комон, где родилась Лаура.

Стр. 24 – 25. Сонет построен на восхвалении не только имени Лаура, но даже слогов, его составляющих.

Стр. 26. С тобой, мой друг... – Сонет явно обращен к какому-то конкретному лицу,

которое, однако, Петрарка не пожелал назвать.

Стр. 27. Сонет обращен к другу при посылке ему плодов. В конце 1800-х годов Г. Р. Державин очень удачно перекладывает этот сонет на русский язык, называя свое стихотворение "Посылка плодов":

Когда делящая часы небес планета,
К нам возвращался, приходит жить с тельцем.
От пламенных рогов щедрота льется света,
Мир облекается и блеском и теплом.
Не только лишь земля с наружности одета,
Цветами дол пестрит и кроет злаком холм,
Но и в безжизненной внутрь влажности нагрета,
Плодотворительным чреватее лучом,
И сими нас дарит, другими ли плодами.
Подобна солнцу ты меж красными женами,
Очей твоих лучом пронзая сердце мне,
И помыслы родишь, и слова любовны
Но ах! они к тебе колико не наклонны,
В цветущей не живал я никогда весне.

Замечательно, что Г. Р. Державин, своевольно распоряжаясь сонетной формой, поразительно четко выстраивает образно-смысловую структуру сонета.

Стр. 28. Этот довольно ранний сонет обращен к Стефано Колонна. Петрарка приглашает его посетить тихий уголок в Гаскони, где поэт пользовался гостеприимством Ломбезского епископа... Кого Юпитер силой грозной мести... – Под Юпитером прозрачно скрыт папа Бонифаций VIII, преследовавший мятежное семейство Колонна.

Стр. 29. Этот XIII сонет неоднократно переводился на русский язык. Приводим перевод Ивана Бунина, сделанный в конце прошлого века, когда Бунин особо интересовался сонетной формой, готовясь к переводу "Крымских сонетов" Мицкевича:

Когда, как солнца луч, внезапно озаряет Любовь ее лица спокойные черты, Вся красота других, бледнея, исчезает В сиянье радостном небесной красоты.

Смирясь, моя душа тогда благословляет И первый день скорбей, и первые мечты, И каждый час любви, что тихо подымает Мой дух, мою любовь до светлой высоты.

Свет мысли неземной лишь от нее исходит. Она того, кто вдаль последует за ней, Ко благу высшему на небеса возводит

По правому пути, где нет людских страстей. И, полон смелостью, любовью вдохновенный, Стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной!

Стр. 31. И вот он созерцает образ в Риме... – Речь идет о "нерукотворном лике" Христа в римском соборе св. Петра. Согласно преданию, он запечатлен на платке, которым св. Вероника вытерла пот с лица шедшего на казнь Христа.

Стр. 32 – 33. Приводим перевод Г. Р. Державина, в котором он держится уже несколько иной строфической формы, чем в переводе сонета IX; Державин дает этому стихотворению название "Прогулка":

Находятся с таким в природе твари зреньем,
Что быстро свой взносить на солнце могут взор:
Но суть и тем, кому луч вреден удареньем;
А под вечер они выходят лишь из нор.
Иные ж некаким безумным вождельеньем
И на огонь летят, красот в нем зря собор:
Но лишь касаются, сгорают мановеньем.
И я, бедняк, сих толп и образ и позор!

Бессилен будучи сносить лучи светила,
Которым я прельщен; ни тени, коя б скрыла
Меня где от него, ни места, я не зрю:
Не с потупленными, слезящими очами
Влекусь чрез силу зреть на солнце меж женами,
Не мысля, ах! о том, хоть ею и сгорю.

Стр. 34 – 35. Сонет XXIV является стихотворным ответом знакомцу Петрарки Страмаццода Перуджа.

Стр. 35. Сонет XXV адресован другу-поэту, отошедшему от любовной лирики и вновь к ней вернувшемуся.

Стр. 36. Сонет XXVI обращен к тому же другу-поэту. Стр. 36 – 37. Благой король... – французский король Филипп VI...на чьем челе корона II Наследная... – т. е. корона Карла IV. Далее речь идет о Крестовом походе 1333 г. Под "безжалостными сатрапами Вавилона" подразумеваются сатрапы Багдадского падишаха...Что Божий самый ревностный слуга... – папа Иоанн XXII...Твой нежный агнец... – подразумевается Агнесса Колонна.

Стр. 37...в троице планет... – по тогдашней космогонии это: Луна, Меркурий и Венера.

Стр. 38...А свет звезды, что немила Юноне... – т. е. свет Венеры.

Стр. 39. Коль скоро, Аполлон, прекрасный пыл... – т. е. пыл (любовь) к Дафне...Когда ты жил среди простого люда... – Речь идет об изгнании Аполлона с Олимпа...Она сидит на травке – наше чудо, II Сама сплетая над собою сень. – Подразумеваются сразу и Дафна (возлюбленная Аполлона) и Лаура (возлюбленная Петрарки) и обе они уподобляются вечному лавру.

Стр. 40. Сонет XXXV является, по мнению ряда крупнейших знатоков итальянской поэзии (от Жангенэ и до Фр. Флора), одним из лучших сонетов Петрарки. Оттого-то он, по всей видимости, и привлек внимание многих русских переводчиков, начиная с Г. Р. Державина. Вот его перевод под названием "Задумчивость":

Задумчиво один, широкими шагами
Хожу и меряю пустых пространство мест;
Очами мрачными смотрю перед ногами,
Не зрится ль на песке где человеческий след.
Увы! я помощи себе между людьми
Не вижу, не ищу, как лишь оставить свет;
Веселье коль прошло, грусть обладает нами,
Зол внутренних печать на взорах всякий чтет.
И мнится, мне кричат долины, реки, холмы:
Каким огнем мой дух и чувства жегомы
И от дражайших глаз что взор скрывает мой:
Но нет пустынь таких, ни добрых мрачных, дальных,
Куда любовь моя в мечтах моих печальных
Не приходила бы беседовать со мной.

Стр. 41. Нет, Орсо... – Сонет посвящен Орсо дель Ангиллара.

Стр. 42. XXXIX сонет посвящен Джованни Колонна, и в нем речь идет о предполагавшейся встрече Петрарки с этим кардиналом весной 1337 г. Однако боязнь повстречаться с Лаурой удерживает поэта.

Стр. 42 – 43. Когда Амур или Смерть в середине слова //Начатой мною ткани не порвут... – Речь идет о новом сочинении, над которым в ту пору Петрарка работал (предположительно над "Африкой" или "Жизнеописанием знаменитых мужей"). Но часто мне для моего труда // Недостает благословенных нитей, / Которые мне Ливии мог бы дать. – Как явствует из заключительного следующего терцета, речь идет о манускрипте, который

Петрарка просил своего адресата (по разным предположениям, Джакомо Колонна или Джованни Колонна) прислать для работы. О том, что Петрарка просил прислать именно Тита Ливия, в оригинале не сказано. Вероятнее, что под *mio dilecto padre* (любимый мой отец) оригинала скрыт св. Августин, а не Тит Ливии.

Стр. 43. Когда из роши Дафна прочь уйдет... – Под метафорической Дафной скрывается Лаура. Сонет написан по случаю отъезда Лауры в июле 1336 г.; в тот день разразилась сильная гроза.

Стр. 44. Вместе с предыдущим сонет образует определенное поэтическое единство... В глубинах Монджибелло труд замрет II Хромого Сицилийца-великана. – Согласно мифу, кузница Вулкана находилась в Монджибелло (вулкан Этна) или на Липари... И с ним Юнона вновь благоуханна. – Юнона – сестра Вулкана В данном случае олицетворение воздуха.

Стр. 44 – 45. Латоны сын с небесного балкона... – т. е. бог солнца Аполлон... Ту, по которой, как другой сейчас...

Под "той" подразумевается Дафна, в которую был влюблен Аполлон.

Стр. 45. Кто, проявив неумолимый нрав... – Речь идет об Юлии Цезаре, всплакнувшем над головой разбитого им при Фар-сале Помпея... И тот, кто был сильней, чем Голиаф... – т. е. Давид, рыдавший над трупом мятежного сына Авессалома и трупом своего гонителя Саула.

Стр. 46. Мой постоянный недоброжелатель... – зеркало... Хотя нет на свете трав, достойных стать // Цветку неповторимому оправой. – В переводе несколько приподнято. В оригинале проще: растительность недостойна такого красивого цветка. Вот смысл уподобления Лауры Нарциссу.

Стр. 46 – 47. И золото, и жемчуг, и лилеи... – Петрарка ревнует к украшениям Лауры, ревнует к зеркалу, в которое она смотрится.

Стр. 49... Спасаящейся Дафны превращенье... – т. е. превращенная в лавр. Как и в ряде других сонетов, тут с Дафной идентифицируется Лаура... И не был бы с усталым старцем схож, I Гигантской тенью застывшим Марокко. – Под "усталым старцем" подразумевается мифологический Атлант, превратившийся под взглядом Медузы в одноименную гору.

Стр. 50 – 51. Скорей... там, где две реки, II Евфрат и Тигр, влачат свои извивы // Из одного истока, Феб зайдет... – Смысл этого стихотворного пассажа таков: "скорее солнце зайдет на Востоке..."

Стр. 51. На первый дар, синьор мой, отдохнуть... – Сонет обращен к Агапито Колонна при посылке ему даров. Из дальнейших строк следует, что Петрарка посылал своему знакомцу подушку, манускрипт философского или морального содержания и кубок. Агапито Колонна доводился родным байтом кардиналу Джованни и епископу Джакомо, друзьям Петрарки.

Стр. 52 – 53. Среди минимум полдюжины русских переводов этого LXI сонета отметим перевод В. Брюсова.

Благословен тот вечер, месяц, год,
То время, место, та страна благая.
Тот край земной, тот светлый миг, когда я
Двух милых глаз стал пленник в свой черед.
Благословенна ты, боль роковая,
Что бог любви нам беспощадно шлет,
И лук его, и стрел его полет,
Разящих сердце, язвы растравляя.
Благословенны речи все, где я
Ее назвал, печали не тая,
Желанья все, все жалобы, все стоны!
Благословенны вы, мои канцоны,
Ей спетые, все мысли, что с тоской

Лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной.

В первом четверостишии Петрарка благословляет время и место (Прованс, Авиньон, церковь св. Клары), где он впервые встретил Лауру.

Стр. 53. Одиннадцатый на исходе год... – Сонет написан 6 апреля 1338 г. в одиннадцатую годовщину встречи с Лаурой.

Стр. 54...Из груди, где разросся лавр молодой //Листвой любви... Обычное в "Канцоньере" отождествление Лауры с лавром.

Стр. 55. Нет, не о том, чтоб в сердце у меня// Умерить пламя... Почти буквальная цитата из Данте ("Чистилище", VIII, 84).

Завидев левый берег в Тирренском море... – если ехать из Прованса в Италию.

Стр. 56. К кому обращен сонет LXVIII, точно не выяснено. Предполагают, что римскому приятелю Петрарки Орсо дель Ангиллара (или к Стефано Колонна). Священный город ваш... – т. е. Рим.

Стр. 58...Оружие, что точит мой тиран... – т. е. Амур, любовь.

Стр. 59 – 60. Меж созданных великим Поликлетом... – Сонет на портрет Лауры работы Симоне Мартини.

Стр. 63... Жестокий луч еще согреет грудь... – Бойнице уподобляются глаза Лауры.

Стр. 66...Стереть с лица следы неравной схватки. – схватки с Амуром, любовью.

Стр. 68. Сонет XCI, по всей вероятности, посвящен брату поэта Герардо по случаю смерти его возлюбленной.

Стр. 70. Рыдайте, дамы. Пусть Амур заплачет. – Сонет написан на смерть поэта Чино да Пистойя (ок. 1270 – ок. 1337 гг.), друга Данте. Рыдай, Пистойя, вероломный град... – Пистойя названа вероломной за то, что в 1301 г. изгнала Чино как представителя партии черных гвельфов.

– Пиши, – Амур не раз повелевал... – Сонет написан в виде обращения бога любви к поэту.

Стр. 72. Когда бы чувства, полнящие грудь... – Петрарка сетует на то, что его верность Лауре приносит ему только боль. А вот верность апостола Петра и Марии Магдалины Христу доставила им прощение и любовь.

Стр. 74. Любезный Орсо, вашего коня... – Посвящен Орсо дель Ангиллара, который не смог принять участия в турнире.

Стр. 74 – 75. Надежды лгут, и, в торжестве обмана... – Сонет не без основания относят к Джованни Колонна ди Сан Вито, который собирался принять монашество.

Стр. 75. И то окно светила моего... – В первом четверостишии Петрарка говорит о двух солнцах – Лауре и солнце настоящем.

...И место, и пора жестокой встречи... – авиньонская церковь св. Клары.

Стр. 76. Когда поднес, решившись на измену, // Главу Помпея Риму Птолемей... – Комментаторы полагают, что сонет, судя по его нарочитой учености, относится к раннему периоду творчества Петрарки. Основываясь на свидетельстве Лукана, Петрарка говорит о притворстве Цезаря. Далее говорится о притворстве Ганнибала, после поражения во 2-й Пунической войне.

Стр. 78. Успеха Ганнибал, победе рад... – Сонет посвящен молодому Стефано Колонна, разбившему 22 мая 1333 г. войско Орсини под Сан-Чезарио. Медведица, лишившись медвежат... – На гербе Орсини имеется изображение медведицы. Тут намек на битву при Сан-Чезарио.

Стр. 78 – 79. Пандольфо, и в неопытные лета... – Сонет посвящен Пандольфо Малатеста, владельческому синьору Рими-ни. Кто Африканца, Павла и Марцелла... – Африканец – Сципион Африканский; Павел – Павел Эмилий, победитель македонцев в битве 168 г. до н. э.; Марцелл – римский консул, сражавшийся с Ганнибалом.

Стр. 80. Благое место, где в один из дней... – Сонет посвящен другу Петрарки Сеннуччо дель Бене. Ему же посвящены следующие сонеты – CXI и CXIII.

Стр. 84. Безбожный Вавилон, откуда скрылось... – Под Вавилоном подразумевается Авиньон, где находился папский двор. Новому Вавилону противопоставляется Воклюз и уединенная жизнь.

...Меж двух влюбленных Донна шла... – т. е. между Аполлоном и Петраркой.

Стр. 86...На Рим лицо, а к Вавилону спину... – т. е. к Авиньону.

Стр. 87. Узнав из ваших полных скорби строк... – Сонет посвящен Антонио да Феррара, который, поверив в слухи о смерти Петрарки, написал по этому поводу скорбные стихи.

Стр. 87 – 88. Семнадцать лет, вращаясь, небосвод... – т. е. речь идет об очередной годовщине первой встречи с Лаурой. Сменить привычку – говорит народ – // Трудней, чем шерсть! – В буквальном переводе латинская поговорка звучит так: "Волк меняет шерсть, но не умысел".

Стр. 88. Внезапную ту бледность, что за миг... – Сонет на расставание с Лаурой по случаю отъезда в Рим для венчания лавровым венком (1341?).

Стр. 92 – 93. Что ж, в том же духе продолжай... – Этот – как и два следующих сонета (СХХХVII и СХХХVIII) – направлен против папского двора в Авиньоне... Презренная раба вина... – По утверждению Петрарки, папским придворным так нравилось французское вино, что они нипочем не хотели перебраться-обратно в Рим.

Стр. 93...Венеру с Вакхом, Зевса и Палладу. – Здесь переводчик не совсем точен: в оригинале сказано, что "новый Вавилон" стал предпочитать Венеру с Вакхом Зевсу и Палладе, т. е. любострастие и вино божественной воле и мудрости... Вот нового султана видит око... – т. е. нового папу, и далее под Багдадом подразумевается Рим, в который новый папа снова перенесет столицу христианского мира.

Стр. 94...Богатств приبلудных? Константина Ль чаешь? – Существуют несколько толкований этого неясного в оригинале места. Наиболее убедительным представляется следующее: император Константин (274 – 337), сделавший христианство государственной религией и тем самым положивший начало обогащению церкви, навлек на себя священный гнев.

Стр. 94 – 95. Когда желанье расправляет крылья... – Сонет обращен к друзьям, монахам обители Монтрё, среди которых находился и брат Петрарки Герардр... В Египет – я, оно – в Ерусалим. – Эта петрарковская символика расшифровывается: я – в рабство (Авиньон), оно – на свободу (благословенный город).

Стр. 97. И солнце при безоблачной погоде... – Сонет обращен к Сеннучча дель Бене.

Стр. 99. Фула, Бактр, Кальпа, Танаис, Олимп, Атлас – Петрарка перечисляет отдаленнейшие, по тогдашним географическим понятиям, точки. Стало быть, речь идет о всем "подлунном мире". В последнем терцете он ограничивает сферу распространения своих песен Альпами и Средиземным морем, т. е. Италией.

Стр. 106 – 107. Сонет CLIX переводился на русский язык неоднократно. Приводим первый русский перевод этого сонета, выполненный Ив. Козловым:

В какой стране небес, какими образцами
Природа оживясь, умела нам создать
Прелестный образ тот, которым доказать
Свою хотела власть и в небе, и меж нами?
Богиня где в лесах иль нимфа над волнами,
Чьи локоны могли б так золотом блистать?
Чье сердце добротой так может удивлять?
– Хотя мой век оно усеяло бедами.
Мечтатель, пламенный еще, не встретясь с ней,
Божественных красот всей прелести не знает,
Ни томного огня пленительных очей;
Не знает, как любовь крушит и исцеляет,

Кто звука не слышал живых ее речей,
Не зная, как она смеется и вздыхает.

Стр. 110. Приводим этот CLXIV сонет еще и в переводе О. Мандельштама:

Когда уснет земля и жар отпышет
И на душе зверей покой лебяжий:
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет.
Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит
В неукротимой близости, все та же,
Целую ночь, целую ночь на страже!
И вся как есть далеким счастьем дышит.
Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужестка, полусладка.
Ужели Одна и та же милая двулична?
Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресаю так же сверхобычно.

Стр. 111. Быть верным бы пещере Аполлона... – Сонет целиком построен на иносказании. Общий смысл его таков: когда б я оставался верен латинской музе (т. е. писал бы латинские стихи, которые Петрарка всегда считал для себя главными), а не отвлекался бы на написание пустяков (т. е. любовных стихотворений по-итальянски), то я прославил бы свою родную Флоренцию, как прославил Катулл свою Верону, и т. д. Исходя из общего этого смысла, следует толковать и детали. Терн, репей – поэтические пустяки, писанные по-итальянски. Олива сохнет. – Символ "усыхающей мудрости".

Стр. 118. Глухой тропой, дубравой непробудной... – Летом 1333 г. Петрарка по пути из Кельна в Авиньон проезжал Арденнский лес. Этим путешествием и навеян сонет.

Стр. 120. Да, Джери, и ко мне жесток подчас... – Это стихотворный ответ на сонет Джери дей Джанфильяци ("Мессер Франческо, кто сохнет от любви..."), в котором этот последний вопрошает: как победить враждебность своей возлюбленной?

Стр. 120 – 121. Ты можешь, По, подняв на гребне вала... – Сонет написан под впечатлением плавания по реке По (из Пармы в Верону в 1345 г.?)...лучшее из солнц... – Лаура. – Стр. 121. Амур меж трав... – Весь сонет – парафраза того, что Петрарка кратко выразил в своем прозаическом трактате "О презрении к миру": "Я нечаянно попал в сети". В первом четверостишии Лаура уподобляется лавру, под которым раскинута сеть из жемчуга и золота, т. е. из ожерелья и волос Лауры. Два следующих стиха: плод, свисавший рыболовным крючком ко рту поэта, – означает, по-видимому, надежду на удовлетворение любовного влечения.

Стр. 123. Амур, природа, вкупе со смиренной... – Сонет написан по случаю болезни Лауры.

Стр. 124 – 125...И тот, кто пятьдесят шесть лет царил... – император Август...И тот, кого в Микенах погубили. – Агамемнон. Сей доблести и древней мощи цвет... – Сципион Африканский.

Стр. 125...И Македонец закусил губу... – Александр Македонский. "Блажен... Найдя такую звонкую трубу!"... – Под "звонкой трубой" следует понимать в данном случае Гомера и его "Илиаду"...Петь горячо из Мантуи пастух... – пастух Вергилия.

Стр. 126...Ладья моя блуждает в океане... – Под блуждающей в океане ладьей подразумевается жизнь поэта.

Стр. 127. Лань белая на зелени лугов... – "Лань белая" – Лаура...Промеж двух рек... – т. е. между Соргой и Дюрансом (притоком Роны)...убор золотых рогов. – Витиеватое

уподобление кос Лауры. Сверкала вязь... Не тронь меня!.. – Петрарка воспользовался легендой, согласно которой через триста лет после смерти Цезаря был пойман олень с алмазной надписью на шее: "Noli me tangere. Cesaris sum" ("Не тронь меня. Я принадлежу Цезарю"). Полдневная встречала Феба грань... – т. е. когда поэт достиг "половины жизненного пути" (35 лет), что, к слову сказать, и дало основание для датировки этого сонета (1339 г.).

Стр. 128. Кого-то кормят звуки, 11 Кого – растений сладкий аромат... Почти дословная цитата из Плиния... Кого живит огонь, кого – вода... – т. е. саламандр живит огонь (согласно поверью), вода – рыб.

Стр. 130. Любимого дыханья благодать... – На возвращение из Тосканы в Прованс.

Стр. 138 – 139. С альпийских круч ты устремляешь воды... – Река Рона.

Стр. 147. "О донны, почему, сходясь в часы бесед..." – Сонет обращен к подругам Лауры.

Стр. 149... И с ними солнце – в лодке на просторе... – речь идет о лодочной прогулке по Роне... Ни пастырь, что навлек на Трою горе... – т. е. Парис, послуживший причиной Троянской войны. Кто б их ни вез Автомедонт иль Тифий... – Автомедонт – возница Ахилла; Тифий – кормчий аргонавтов.

Стр. 154. Был македонский вождь непобедим... – Речь идет об Александре Великом. Плиний рассказывает, что Александр Великий разрешил только нескольким художникам делать его изображения – Апеллесу в живописи, Лисиппу – в скульптуре (в бронзе). Тидей – один из семи царей, сражавшихся против Фив; будучи раненым в жестокой схватке с Меналиппом, нашел в себе достаточно сил, чтобы поразить его, и, уже умирая, все еще грыз его голову. Этим эпизодом, рассказанным Стацием, воспользовался Данте (рассказ о графе Уголино в "Аду"). По преданию, римский диктатор Сулла ослеп в припадке ярости. Римский император Валентиниан I (364 – 375 гг.) умер от приступа ярости во время приема послов. Аякс – легендарный герой греческого стана под Троей. Бросился на меч, разобиженный тем, что ему не достались доспехи Ахилла.

Стр. 157. Все сочеталось в нем. высокий гений... – Речь идет о какой-то царственной особе (предполагают, что о Карле Люксембургском).

Стр. 160. Я сам в беде и злейших бедствий жду. – Написано в ответ на стихотворное послание (сонет) Джованни Донди, математика из Падуи, в котором тот сетовал на свои любовные страдания и просил у Петрарки соответствующего совета.

Стр. 172 – 173. – Жизнь – это счастье, а утратить честь... – Сонет написан в форме диалога между Лаурой и воображаемой собеседницей.

Сонеты на смерть Мадонны Лауры

Стр. 178. Синьор, я вечно думаю о Вас... – Сонет посвящен кардиналу Джованни Колонна... Два светоча я призываю снова... – т. е. Колонна и Лаура

Стр. 178 – 179. Увы, прекрасный лик! Сладчайший взгляд!.. – Написано на смерть Лауры (Авиньон, 6 апреля 1348 г.).

Стр. 179. Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный... – На смерть кардинала Джованни Колонна (3 июля 1348 г.). На русский язык этот знаменитый сонет переводился неоднократно. Среди переводчиков – Конст. Батюшков и Ив. Козлов.

Стр. 186 – 187. Как часто от людей себя скрываю... в своей пустыне милой... – Речь идет о затворнической жизни в Вок-люзе.

Стр. 190 – 191. Сennуччо мой! Страдая одиноко... – Сонет написан на смерть Сennуччо дель Бене, близкого друга Петрарки, случившейся в 1349 г... Гвигтоне, Чино, Данту мой поклон... – Петрарка перечисляет поэтов любви Гвигтоне д'Ареццо, Чино да Пистойя, Данте, которые находятся на небе Венеры (согласно тогдашней космогонии "третьей сферы").

Стр. 192. Свой пламенник, прекрасней и ясней // Окрестных звезд, в ней небо даровало... – т. е. в Лауре. Ее вернуть на родину огней. – т. е. вернуть на звезду Венеру, откуда спустилась ее душа на землю.

Стр. 194. Титон, ты знаешь каждый раз, что скоро... – Титон (или Пифон) – согласно греч. мифологии, сын троянского царя Лаомедонта, возлюбленный Эос, которая унесла его к себе на край земли и неба. По просьбе Эос Зевс сделал Титона бессмертным, но богиня не испросила для него вечной юности, и Титон превратился в дряхлого неумирающего старика.

Стр. 199...И белый день над жалким пелелищем... – т. е. день 6 апреля – день первой встречи Петрарки с Лаурой и день ее смерти.

Стр. 200 – 201. Дол, полный звуков пеней повторенных... – Под "долом" разумеется Воклюз – Река, где токи есть... – Сорга.

А вот этот же сонет в переводе О. Мандельштама:

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать мопи бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых,
Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:
Незыблемое зыблется на месте.
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол, после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Стр. 201. Этот СССР сонет с легкой руки Жангенэ, автора известной многотомной "Истории итальянской литературы", получил в начале XIX в. большую известность. Не исключено, что именно чтение Жангенэ подвигло известного русского поэта Ив. Козлова взяться за перевод:

Я к той был увлечен таинственной мечтою,
Которую ищу напрасно на земле.
И там, где горний мир, она предстала мне
Не столь жестокою, еще светлей красою.
И молвила она, держа меня рукою:
"Хочу, чтоб был со мной в надзвездной ты стране;
Я дух крушила твой любви в тревожном сне,
И прежде вечера мой день был кончен мною.
Блаженству дивному как быть изъяснену.
Тебя жду одного и чем тебя пленяла,
Мою прекрасную земную пелену..."
Увы! зачем она речей не продолжала
И руку отняла! – мне, ими прельщену,
Уж мнилось, что душа на небе обитала.

Стр. 202. Амур, что был со мною неразлучен //На этих берегах... – т. е. на берегах Сорги.

Стр. 203. Взгляни на Соргу, на ее исток... – В оригинале речь идет не об истоке как таковом, а о Воклюзе, неподалеку от которого берет свое начало Сорга.

Стр. 205. Той, для которой Соргу перед Арно... – т. е. Лауры, для которой автор предпочел Воклюз Флоренции, Тоскане, Италии.

Стр. 206...Щебечет Прокна, плачет Филомела... – Про-кна – ласточка, Филомела –

соловей.

Стр. 209...Сей день – последний, счастье миновало. – Имеется в виду отъезд Петрарки в 1347 г.

Стр. 211. А между тем уж время приближалось... – Иными словами, если б мы оба прожили дольше, то наступил бы момент, "Когда она могла б внимать сердечно//Моим словам...".

Стр. 212. Когда судьба растение сотрясла... – т. е. лавр, Лауру... Другое Каллиопа избрала с Эвтерпой... – Каллиопа – муза эпической поэзии, Эвтерпа – муза лирической поэзии.

Стр. 215. Нет, не читать без судорог ума... – Ответ на сонет Джакомо Колонна, епископа Ломбездского, друга и покровителя Петрарки.

Стр. 219. Идите к камню, жалобные строки... – Речь идет о могильном камне.

Стр. 221... Родной звезды восходом осиянной. – Венеры.

Стр. 228 – 229. Когда она почил в Боге... – А вот этот же сонет в переводе А. Майкова: Когда она вошла в небесные селенья, Ее со всех сторон собор небесных сил, В благоговении и тихом изумлении, Из глубины небес слетевших, окружил.

"Кто это? – шепотом друг друга вопрошали. – Давно уж из страны порока и печали Не восходило к нам, в сияньи чистоты, Столь строго девственной и светлой красоты".

И, тихо радуясь, она в их сонм вступает, Но, замедляя шаг, свой взор по временам С заботой нежною на землю обращает

И ждет, иду ли я за нею по следам.. Я знаю, милая! Я день и ночь на страже! Я господа молю! Молю и жду – когда же?

Стр. 233...Мне ж смерть и небо, жадны в равной мере... – Речь идет о Лауре, чье тело приняла земля и чья душа вознеслась на небо.

Стр. 236. И тот, кто наших праотцев подъял... – Христос.

Стр. 238...Кто обрели, покинув суету. // Сокровище, что всех земных дороже. – Т. е. обрели бога.

Стр. 239. Лет трижды семь повинен был гореть я... – Стало быть, сонет написан 6 апреля 1358 г. (отсчитывая от 6 апреля 1327 г., дня первой встречи с Лаурой).

Избранные канцоны, секстины, баллады и мадригалы

Стр. 247...В два корня превратилисо близ волны И Величественней, чем волна Пеней... – Дафна была превращена в лавр на берегу реки Пеней.

Стр. 255...Испанию с Гранадой миновав, //Марроко и Геракловы столбы... – Геракловы столбы – скалы по обеим сторонам Гибралтарского пролива, воздвигнутые, согласно мифу, Гераклом. В географических представлениях людей петрарков-ского времени у Геракловых столбов кончался мир.

Стр. 256. Плескаясь в ледяных волнах, Диана //Любовника, следившего за ней... – Согласно мифу, под "любовником" подразумевается Актеон.

Стр. 257. О благородный дух, наставник плоти... – Канцона посвящена римскому сенатору.

Стр. 258...Коль Марсовы сыны... – т. е. римский народ.

Стр. 259. Орлы и змеи, волки и медведи // Подчас колонне мраморной вредят... – речь идет о врагах дома Колонна: семействах Каэтани, Савелли, Гусколо, Орсини. Тысячелетие, как в ней не стало... – намек на Константина, перенесшего в 329 г. столицу Римской империи в Византию.

Стр. 262...Рожденные туманом в этих долах... – Подразумевается Воклюз.

Стр. 263. Я каждый ветер прощаю ради ветра, //Пленившего меня в краю, где реки... – "Ради ветра, пленившего меня" – ЖТО Лаура. Тут Петрарка играет на словах G aura (ветерок, дуновение) и Laura (имя возлюбленной Петрарки). "Реки" – Сорга и Дю-ранс.

Стр. 264. "Drez et gayson..." – зачин анонимной провансальской песни. "...Пою, – ведь это госпоже угодно". – Зачин канцоны Гвидо Кавальканти.

Стр. 265...Хочу, чтобы суровым стало слово. – Начальный стих канцоны

Данте...Прекрасный лик и сладостные они. – Начальный стих канцона Чино да Пистойя...Зари моей безоблачную пору. – Начало XXIII канцона самого Петрарки (см. стр. 246).

Стр. 266. Кто предпочел другим дорогам в жизни... – Секстина сплошь построена на аллегориях. Ладея поэта (Петрарка) стремится к вечности, но парус, наполняемый любовным ветром, устремляет эту ладью на опасные рифы земного существования. Борьба религиозного чувства с любовным влечением главная тема стихотворения.

Стр. 278. Знаменитейшая CXXVIII канцона обращена к "властителям Италии"...На Тибре и на Арно // И здесь, на По... – Петрарка перечисляет три основные реки полуострова, которые как бы символизируют всю Италию...где днесь моя обитель... – В то время Петрарка проживал в Сельвапьяне, близ Пармы.

Стр. 279...Вспорол бесстрашный Марий... – Марий – победитель тевтонов в 102 г. до н. э.

Стр. 283. И Леда перед этой красотой // Сочла бы дочь-красавицу невзрачной... – Согласно греч. мифологии, Леда – дочь Тестия, царя Этолии. Ее дочь – Елена.

Стр. 284...Меня над речкой ты увидишь снова... – "Речка" – Сорра.

Стр. 285. Где брезжит первый свет... – Восток...Есть птица – диво стороны далекой... – птица Феникс.

Стр. 286 – 287...Есть в Греции, в Эпире, ключ студеный... – об этом рассказывает Плиний. Струятся два ключа // На островах Фортуны... – т. е. на Канарских островах...О роднике, который полн всегда... – Сорра.

Стр. 290 – 291...и небо над луною // Не столь усеяно звездами ночью... – Согласно тогдашним астрономическим представлениям, небо над луной, ближе всего находящееся к земле, вообще лишено звезд...Ступив на берег дорогой под вечер. – На "берег", где находилась Лаура, т. е. в Авиньон.

Стр. 298. Когда... Лауру смог бы я ошать у смерти, // Как милую Орфей... – Речь идет о мифе об Орфее и Эври-дикее.

Стр. 301... И верь, что стану я... – т. е. после дня Страшного суда.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

Письмо к потомкам

Свои "Старческие письма" ("Rerum senilium libri", 1366) Петрарка предполагал завершить автобиографическим письмом, обращенным к потомкам. Письмо осталось в наброске, который его ученики и почитатели не решились включить в собрание "Старческих писем". В последующие времена набросок Петрарки, подвергнутый порой весьма произвольным исправлениям, был опубликован (XVI в.). Но только уже в XX в. стараниями ряда ученых текст петрарковского письма был освобожден от всевозможных наслоений и опубликован в более или менее первоизданном виде ("Prose petrarchesche" a cura di P. G. Ricci, Milano – Napoli, 1955). Тем не менее в истории и датировке "Письма" остается еще очень много неясностей. Достаточно сказать, что ряд ученых полагает, что письмо было написано в 1370 – 1371 гг., другие же относят время написания к 1351 г., объясняя наличие в нем сведений о событиях более поздних домыслами издателей. П. Риччи пытается примирить эти две точки зрения, относя петрарковскую основу ко времени до 1367 г., а к 1370 – 1371 гг. – его же позднейшие вставки.

Стр. 307...Род мой (как сказал о себе кесарь Август) – древний. Так сообщает Светоний в "Жизни двенадцати цезарей" (книга 2, "Божественный Август").

Стр. 308...последователи Апиция с их изысканными обедами. – Целий Апиций, знаменитый гурман времен Тиберия. Ему приписывается "Кулинарный сборник" ("De re coquinaria").

В юности страдал я... не погасила уже гаснущее пламя. – Под "юностью" Петрарка

имел в виду возраст между "детством" и "зрелостью", то есть от 17 до 30 лет. Стало быть, "жгучая любовь" к Лауре продолжалась до 1333 г., когда Петрарка совершил первое "бегство" из Авиньона (Петрарка пожелал объяснить свое путешествие по Западной Европе в 1333 г. "гаснущим пламенем" любви, вступая тут в очевидное противоречие с содержанием "Канцоньере"). Любовь эта совсем погасла в 1348 г. со смертью Лауры. Комментаторы усматривают в этом пассаже некоторую нарочитость, желание Петрарки "покрасоваться" перед потомками своей моральной чистотой.

Стр. 309...приближаясь к сороковому году... – и далее до конца фразы. Петрарка слегка преувеличивает моральную свою стойкость. В письмах 1351 и 1352 гг. он еще сетует на то, что никак не может полностью избавиться от плотских вожделений.

...увлеченный священной наукою... – На 1346 – 1347 гг. падает особенное увлечение Петрарки библейскими и христианскими текстами.

Стр. 310...шесть следующих – в Анцизе... – т. е. в Инчизе, где Петрарка прожил с 1365 по 1311 г.

...Урбан V, казалось, вернул ее на ее законное место... – Скорее всего, позднейшая вставка. Папа Урбан V вернулся в Рим из Авиньона в 1367 г. и снова отбыл туда в 1370-м.

...оставил славное свое намерение вместе с жизнью... – Урбан V умер 19 декабря-1370 г. Выше Петрарка говорит о своих "попреках" Урбану за намерение оставить Италию. Речь идет о "Письмах к разным лицам" ("Varia"), где Петрарка об этом пишет.

Стр. 311...потом в Болонью, где в продолжение трех лет... – На самом деле Петрарка пробыл в Болонье с 1320 по 1326 г. "Три года" надо понимать в том смысле, что Петрарка "проучился" там три года, ибо тамошний университет был на некоторое время закрыт.

Стр. 312...увез меня в Гасконь, где... я провел почти неземное лето... – См. соответствующий сонет X.

...долину, которая зовется Запертою... – т. е. Воклюз.

Стр. 313...в исполнении оказывались трудными... – Речь идет, видимо, об "Африке", над которой Петрарка продолжал работу и еще много позднее.

Стр. 316. Об этом событии существуют и письма мои... – "Стихотворные послания" (II); "Письма к друзьям" (IV).

...к источнику Сорги, в мое заальпийское уединение. – Второй петрарковский "воклюзский период" длился с весны 1352 по сентябрь 1363 г.

...благоволение Джакомо Каррара-младшего... – Властитель Падуи до 1350 г., когда был убит.

Стр. 317...наследовал его сын, муж редкого ума... – Франческо де Каррара, которому Петрарка посвятил в 1373 г. одно из "Старческих писем" (XIV).

...переменою места утишить мою тоску. – Вполне вероятно, что это место навеяно чтением Данте ("Чистилище", VI, 148 – 151).

Гвидо Сетте, архиепископу Генуэзскому, о том, как меняются времена

Наиболее значительное по объему автобиографическое письмо Петрарки. Написано в 1367 г. из Венеции. Гвидо Сетте родился в 1304 г. в Луни. В 1358 г. он стал архиепископом Генуи. В 1361 г. он основал бенедиктинский монастырь Червара возле Портофино, где и умер в 1367 г. Петрарка был связан с ним тесной долголетней дружбой.

Письмо это является ценным дополнением к предыдущему.

Стр. 321...слова Горация... – Речь идет о стихах Горация Флакка ("Поэтическое искусство", 173 – 174).

Стр. 322...я – в изгнании... – в Ареццо, где находился изгнанный отец Петрарки.

На рубеже младенчества и детства... – В 1312 г., когда Петрарка перебрался с семьей в Авиньон, ему было семь лет.

...послании дожу и Совету... – Речь идет о письме, которое Петрарка написал в 1352 г. дожу Генуи, призывая замирииться с Венецией.

...перенесен был туда папский престол... – Папская резиденция была перенесена из Рима в Авиньон Клементом V в 1309 г. В апреле 1367 г. папа Урбан V перенес ее снова в

Рим (где она оставалась лишь до 1370 г.), т. е. примерно прошло шестьдесят лет, как пишет Петрарка.

Стр. 323...Карпантра... – Маленький этот городок являлся, начиная с 1320 г., центром Венессенского графства.

Стр. 324...изучать право в Монпелье... – С 1204 по 1349 г. Монпелье находился под властью Арагонской короны, затем отошел к Франции.

Стр. 326...сперва создало пагубное самовластье... – Речь идет о тирании Пеполи (1337 – 1350), а потом Джованни да Оледжо. Что касается "внешних врагов", то тут имеются в виду вооруженные распри между церковью и Висконти.

...словами, сказанными о Ганнибале: "ничего истинного... ни уважения к святыням"... – Тит Ливии, XXI, 4, 9.

...пришлось окружить его новыми стенами... – Работы по возведению новых стен были предприняты в 1366 г. в связи с набегом Бертрана Дю Геклена на Авиньонскую территорию.

Стр. 327...наместник Его со своими присными сердцем к законной супруге повлеклись... – т. е. речь идет о том, что папа со своими приближенными вернулись в Рим, несмотря на сильное ежелание части его двора. Как уже говорилось, в 1370 г. папа Иоан перебрался в Авиньон.

Стр. 327...упорных же уломает Господь или смерть, за что, ак кажется, она уже взялась. – В самом деле, из четырех или яти высокопоставленных прелатов, отказавшихся возвращаться в Рим вместе с папой, один к описываемому времени умер в Авиньоне.

Стр. 328. Многие провел я там годы... – Петрарка жил в Воклюзе в следующие периоды: 1337 – 1341, 1342 – 1343, 1345 – 1347, 1351 – 1353 гг.

...их и всего того края господин... – Филиппе ди Кабассо-ле, епископ Кавайонский, в чьей юрисдикции находился и Вок-люз.

Стр. 329. Ибо вскоре после того, как я уехал... – Вероятно, в 1353 г.

...защитницу воров Лаверну... – Гораций, "Поел." I.

Стр. 329 – 330...с мужем, коего много и часто... я восхвалял... Вернувшись в Авиньон из Болоньи в 1326 г., Петрарка отправился летом 1330 г. вместе с епископом Джакомо Колонна в его епархию в Ломбез (в Пиренеях).

Стр. 330. Об этом рассказал я подробно в письме к почтенному старцу Пьеру де Пуатье... – Письмо было написано Петраркой в 1361 г.; однако Пьер де Пуатье, приор монастыря Сант-Элиджо, умер в 1362 г., не успев получить это письмо.

...непобедимый король французский не просто побежден будет, но брошен в темницу и лишь за громадный выкуп отпущен на свободу? – Король Иоанн II был захвачен Эдуардом III Английским в битве при Пуатье (1356 г.) и выпущен на свободу только в 1360 г. после подписания мира в Бретињи за выкуп в размере 3000 экю.

...и сын его, ныне царствующий... – Король Карл V. Подтверждений сделки, о которой говорит Петрарка, историками не найдено.

Стр. 331...старец Стефано Колонна... – отец Джакомо и Джованни Колонна, друзей и покровителей Петрарки.

Еще через четыре года посетил я Неаполь... – т. е. в 1341 г. перед увенчанием на Капитолийском холме в Риме. К этому времени и относится встреча Петрарки с королем Робертом.

На четвертый год (так жизнь моя на четырехлетия делилась)... Петрарка вернулся в Неаполь в 1343 г., т. е. чуть раньше указываемого им срока.

Стр. 332...сперва в Вероне... а позднее в Падуе... – В Вероне Петрарка прожил зиму 1348 г.; в Парме сразу после Вероны; в Падуе он провел март 1349 г. Пребывание в Ферраре относится, стало быть, к периоду где-то между 1348 – 1349 гг.

...достоинейшему мужу, чьей гибели никогда не смогу вспоминать без скорби. – Джакомо де Каррара, доставивший Петрарке церковную синекуру в Падуе. Джакомо умер в декабре 1350 г.

...город обезображен недавнею страшною чумой... – Речь идет о чуме 1348 г., так

сильно изображенной Боккаччо в "Декамероне".

Позднее в Милане побывал я и в Павии. – В Милане Петрарка впервые побывал в 1353 г. по приглашению архиепископа Джованни Висконти и оставался там до 1361 г. В Павии, по приглашению Галеаццо Висконти, Петрарка побывал летом 1363 и 1369 гг.

Стр. 333. Что говорить о Пизе... Сиене... Перудже... – В Пизе Петрарка был в 1311 г. проездом в Прованс; в Сиене и Перудже – также проездом из Неаполя в 1343 г.

Не могу, предавшись воспоминаниям, обойти стороной мою родину. – Т. е. Флоренцию.

Но даже Венеция, откуда пишу тебе... – В Венеции Петрарка жил с 1362 по 1367 или 1368 г.

Стр. 334...когда юношей впервые приехал я с наставником из Болоньи... – Вероятно, это было в 1321 г.

...как обстоят дела у серийцев и индов... – См. у Горация, "Песнь I", 12, 56.

Откуда недавно морем... оттуда идут корабли, груженные рабами... – т. е. из Причерноморья.

...где помещает его Назон... – Овидий, "Метаморфозы", VIII, 797 – 800.

Потому что, – как говорит Соломон... – "Екклесиаст", 7,11.

Стр. 335...Было нам по двадцать пять лет, когда слух поразило ужасное имя. – Вероятно, речь идет об отряде Вернёра фон Урслингена, сколоченного в 1340 г. и прославившегося своими бесчинствами в Романье и Эмилии (1342 – 1343 гг.).

...не исключая и высшего, на себе испытали. – Речь идет о том, что в 1365 г. Бертран Дю Геклен, которому король Карл V поручил набрать отряды наемников для экспедиции против Кастилии, дойдя до Авиньона, обложил контрибуцией самого папу Урбана V.

Стр. 336. А ведь уже двадцать лет, как по всем странам она свирепствует... – Первая катастрофическая вспышка чумы произошла в 1348 г., затем часто повторялась. Особенно сильная эпидемия произошла в 1360 – 1361 гг.

Ныне же двадцать лет... – Сильнейшее землетрясение произошло в январе 1348 г. Петрарка находился тогда в Вероне.

Через год землетрясение в Риме... о чем писал я, взволнованный, нашему Сократу. – Землетрясение 10 сентября 1349 г. в Риме вызвало огромные разрушения, в частности, сильно пострадала базилика Сан-Паоло. Петрарка Чгисал об этом в письме к Луиджи Санто (Сократ).

Всего за несколько дней я оттуда уехал... – Петрарка был в Базиле в 1356 г. и выехал оттуда в Прагу, чтобы встретить императора Карла IV в качестве посла Висконти.

Стр. 337. Хотел я написать о землетрясении Иоанну... – Иоанну фон Рингингену, архиепископу Базельскому. Следов письма не сохранилось.

...наши с тобою годы... равные по числу, кои, не таясь, назвал я в письме к другу. – Это в письме к Боккаччо ("Сенилии", VIII), где Петрарка шутливо замечает, что вступил в шестидесятитрехлетие, которое древние считали для человека критическим.

Н. Томашеевский